

Гектор Мало

Приключения Ромена Кальбри

Глава I

Теперь-то мне живется чудесно! Дай Бог всякому жить так благополучно и счастливо! Но это счастье досталось мне не даром, и раньше, чем судьба начала меня баловать, я перенес много горя и бед всякого рода. Вы сами это увидите, когда я вам расскажу по правде, как все было.

Мои предки (как говорится у знатных людей) — отцы, деды и прадеды — испокон веков, как земля стоит, были простыми рыбаками.

У дедушки нашего было одиннадцать душ детей; отец мой был самый младший из них. Таковую семейку прокормить и поставить на ноги стоило не малых трудов, особенно если взять в расчет, что жизнь рыбака представляет гораздо больше опасностей, чем денежных выгод. Рисковать жизнью и здоровьем приходится чуть ли не каждый день, трудов и хлопот много, а нажить денег честному рыбаку — так это почти никогда не бывает.

Когда отцу минуло 18 лет, его взяли в моряки. Эта повинность у нас такая же, как рекрутский набор. Служить приходится долго, целых 32 года, от восемнадцати и до пятидесяти лет.

Отец уехал в плавание, не умея грамоте, а вернулся моряком первой степени (унтер-офицером), т. е. дослужился до высшего чина, какой могут только получить простые моряки, не получившие никакого образования.

Пор-Дье, моя родина, лежит по-соседству с английскими островами, и у наших берегов постоянно плавают военный крейсер, который следит, чтобы рыбаки с английского острова Джерсея не осмеливались ловить нашу рыбу и, в то же время, чтобы и свои рыбаки соблюдали честно все правила рыбной ловли, установленные законом.

На таком-то именно крейсере уехал мой отец продолжать морскую службу; и это было для него большим счастьем.

Как ни любит моряк свое судно, которое долгие годы заменяет ему и семью и родину, а все же у всякого из них радостно бьется сердце, когда можно наконец вернуться в родную деревню.

Ровно пятнадцать месяцев спустя после его возвращения домой совершилось и мое появление на свет Божий, и так как я родился в марте, в пятницу, да еще в новолуние, то было решено нашими соседками и кумушками, что мне в жизни предстоит перенести много приключений, совершить далекие странствия по морям, что вообще я буду неудачником, если только влияние луны не пересилит влияние злополучной пятницы, дня моего рождения.

Приключений у меня было достаточно, и о них-то именно я и намерен Вам рассказать. Скитаний по белому свету тоже выпало не мало на мою долю; что же касается до борьбы двух влияний, то они боролись весьма ожесточенно и долго, так что я сам еле-еле цел остался! И, прочитавши все, что написал в этой книжке, вы сами решите, кто из них победил.

Ничего не было удивительного в том, что мне предсказывали приключения и дальние путешествия, не даром же я был Кальбри, а у нас в семье все были моряками, а если верить преданию, то они плавали еще со времен Троянской войны.

Положим, не мы сами выдумали легенду о своем происхождении, но ученые люди, которые все знают, утверждают, будто бы в Пор-Дье есть до сотни семей, именно семей рыбаков, происходящих по прямой линии от финикийян, колонии которых с незапамятных времен населяли наш берег.

Одно очевидно всякому — это то, что по типу лица и по сложению мы совсем не походим на бретонцев или белокурых норманнов; у нас черные живые глаза, темный цвет

лица, тонкий нос и вьющиеся темные волосы. Да наши рыбацьи лодки представляют собой точную копию с лодки Улисса и его спутников, как описал их Гомер, т. е. лодка имеет одну мачту и четырехугольный парус; таких много встречается в Архипелаге, но в Ла-Манше они употребляются только нашими рыбаками.

Воспоминания моей семьи не заходили так далеко, наоборот, они были довольно сбивчивы и темны. Почти все они детьми попадали на корабль, уходили в море или в океан к берегам таких стран и народов, имена которых не только трудно запомнить, а иногда даже выговорить, а потом погибали или в морском сражении с англичанами, или во время кораблекрушения.

Кресты, на которых виднелись имена дочерей и жен моряков, были весьма многочисленны на нашем сельском кладбище, но надписей с именами мужчин было очень мало, именно потому, что все они погибали на чужой стороне.

Но как почти и во всех семьях моряков, и в нашей семье были свои герои.

Дедушка с материнской стороны плавал вместе со знаменитым Сюркуфом, а второй внучатый дядя Флоги был моим любимым героем. Едва я подрос настолько, что стал понимать окружающие меня предметы, как уже слышал по десять раз на дню его имя. Его звали Жан-Кальбри. Он находился на службе у одного индийского короля, у которого были свои собственные слоны; он не раз участвовал в сражении против англичан, и у него, кроме всего остального великолепия была еще серебряная рука. Слоны и серебряная рука, это представлялось мне чем-то волшебным-прекрасным. Но так ли все это было на самом деле, за это не поручусь; за что купил, за то и продаю. У всех Кальбри была врожденная страсть к морю, и она-то заставила моего отца, немного времени спустя после женитьбы, снова пуститься в плавание. Он мог бы поехать помощником капитана на небольшом судне. Таких много отправляется каждую весну на рыбную ловлю к берегам Исландии, но он так привык к коронной службе, что любил ее и предпочитал всему остальному.

Я не могу хорошенько припомнить себе подробности его отъезда. Мои более яркие воспоминания относятся к тому времени, когда на дворе бушевала буря, море ревело и пенилось; домик наш дрожал до основания, а мать с нетерпением ожидала вестей и всякий день посылала меня на почту узнать, нет ли письма от отца.

Сколько раз она, бедная, будила меня в такую бурную ночь и заставляла молиться вместе с нею. Тогда она зажигала свечу перед образом пресвятой Девы и становилась на колени вместе со мной.

Нам казалось, что, если буря бушевала в Пор-Дье, то такая же точно буря должна была раскачивать и то судно, на котором плавал отец.

Иногда ветер переходил в ураган, приходилось бежать привязывать окна и ставни, потому что у нас, как и вообще у всех бедных людей, все держалось слабо и не могло противиться ветру, хоть избушка наша была защищена с одной стороны высокими дюнами, а с другой стороны рубкой (корабельными обломками). Рубка эта служила когда-то общей каютой трехмачтового корабля, потерпевшего однажды крушение у наших берегов.

Несмотря на это, когда во время равноденствия начинались бури, то в нем становилось страшно жить — так все дрожало и снаружи и внутри.

В одну такую бурную октябрьскую ночь мать меня разбудила. Ветер ревел и стонал. Весь домик наш скрипел. Пламя восковой зажженной свечи до того колыхалось от порывов ветра, что временами погасало. С моря был слышен бешеный рев волн, уносивших с шумом прибрежные камни, а временами раздавались точно залпы из пушек, с таким грохотом волны заплескивали в отверстия прибрежных скал. Несмотря на этот адский грохот, я ухитрился-таки заснуть, стоя на коленях возле матушки. В это время ветром сорвало оконную раму и швырнуло ее на середину комнаты, где она и разбилась на множество мелких кусочков. Я мгновенно очнулся, и мне показалось, что я сам подхвачен и унесен вихрем.

— Милосердный Боже! — воскликнула матушка, — отец твой погиб!

Она была очень суеверна, верила в предчувствия, вообще в чудеса. Письмо, которое она получила от отца моего несколько месяцев спустя, по странному совпадению

подтвердило ее ожидание бедствий. Оказывается, что именно в октябре судно, на котором он плывал было застигнуто бурей в открытом море, и он и все бывшие с ним подвергались страшной опасности.

Это укрепило в ней еще больше веру во все чудесное. У жены моряка тревожная жизнь, она вся проходит в ожидании. Ночью ей снятся кораблекрушения, а целыми днями, месяцами, неделями она ждет писем, которые не приходят к сроку, и мучится от сомнений, все ли благополучно? В то время, о котором я вам теперь рассказываю, почта далеко не была так устроена, как теперь.

Письма попросту раздавались в почтовой конторе и если те, к кому они были адресованы, не приходили вовремя, то какой-нибудь мальчуган или школьник разносил их время от времени по домам. В день прихода почты с берегов Новой Земли почтовая контора осаждалась жаждущими получить весточку от своих далеких моряков, потому что с весны и до осени все бретонские моряки отправляются на ловлю трески, и если бы какой-нибудь иностранец приехал на наше побережье, то мог бы подумать, что он случайно попал на тот остров, описанный Ариосто, где не было ни одного мужчины.

Не удивительно поэтому, какая толкотня происходила на почте; всякая торопилась узнать поскорее, жив ли отец, муж или брат? Некоторые стояли с грудными детьми на руках и с лихорадочным нетерпением ожидали своей очереди. Одни смеялись от радости, читая эти давно жданные знаки, а другие, наоборот, горько плакали. Совсем не получившая писем с тревогой выпрашивали новости у счастливых и хоть таким путем надеялись получить весточку от своих близких, потому что пословица: «нет вестей, значит, вести добрые» совсем не подходит к обиходу моряков. У нас в Пор-Дье была одна старуха по имени тетка Жуан. В течение шести лет она приходила на почту справляться о письмах, и за все это время ни разу не получила ни одного письма.

Про нее рассказывали, что ее муж и четверо сыновей снарядили парусную рыбацкую лодку и ушли в открытое море, причем и люди и лодка погибли навсегда, так что об них не было ни слуху ни духу. С тех пор, как распространилась весть о несчастье, всякое утро приходила она на почту, потому что не хотела поверить своему горю. «На сегодня вам ничего нет», говорил ей почтмейстер, «наверно, вы получите что-нибудь завтра». «Да, может быть завтра», с тоской отвечала она и возвращалась домой, чтобы завтра снова придти с тайной надеждой, и, увы, получала тот же ответ.

Говорили, что с горя с ней сделалось тихое помешательство. Если это и была правда, то все же я никогда не видал более кроткого и исполненного глубокой тоски безумия, какое было у нее. Когда бы я ни приходил на почту, она была уже там, стоит и ждет своей очереди.

Так как заведующий почтой был одновременно бакалейным торговцем, то он начинал, конечно, с тех, кто приходил к нему за солью, за крупой или за кофе, таким образом, в ожидании очереди, оставалось довольно времени для разговоров. В высшей степени щепетильный и пунктуальный в исполнении своих двойных обязанностей, дядя Гишар никогда не смешивал одних с другими и этим еще более затягивал время ожидания.

Как бакалейщик он носил белый передник и соответственную этому костюму фуражку, а как директор почтовой конторы дядя Гишар надевал форменную суконную куртку и черный бархатный берет. Ни за какие блага в мире он не согласился бы отпустить горчицы или перцу своим покупателям, имея на голове берет, и точно так же, ни за что на свете не отдаст письма, которое, быть может, заключает в себе роковую весть о жизни и смерти, если не снимет белого передника, испачканного лавочной пылью, и не наденет берета.

Таким глубоким уважением был проникнут этот достойный человек к своим общественным обязанностям. Каждое утро тетка Жуан начинала мне в сотый раз рассказывать свою печальную повесть:

— Они поехали ловить рыбу в открытое море. Вдруг налетел шквал, да такой сильный, что пришлось спустить паруса и грести поскорей к мысу «Возлюбленный», но, как они ни бились, не могли к нему пристать; ты понимаешь, Ромен, что с таким матросом, как мой Жуан, им нечего было бояться: они наверное встретили какой-нибудь корабль в открытом

море, который их и подобрал.

Ведь это же часто случается... не правда ли, та же история была с сыновьями тетки Мелани. Может быть, их высадили в Америке. А когда они возвратятся домой, воображаю, как вырастет Жером. Ему ведь было тогда всего четырнадцать лет. Четырнадцать да шесть, сколько же это составит вместе? Двадцать лет! Двадцать лет! Он будет уже совсем взрослый, настоящий мужчина!!

Она не допускала даже мысли, чтобы они могли погибнуть и не вернуться домой... Незадолго до своей смерти позвала священника, отдала ему три золотых для передачи Жерому, когда он вернется домой.

Несмотря на крайнюю нужду, голод и холод, бедняжка сберегла эти деньги меньшего любимца.

Отец поехал в плавание на три года, а проплавал ровно 6 лет. Капитан на фрегате менялся несколько раз, но весь экипаж оставался в Тихом Океане до тех пор пока, судно не испортилось и его необходимо было починить.

Глава II

Мне было 10 лет, когда отец вернулся на родину. Это, радостное для нас с матушкой, событие произошло в одно воскресенье после обедни. Я сидел на гати возле входа в гавань и смотрел, как таможенное дозорное судно причаливало к берегу. Рядом с лоцманом стоял какой-то моряк в военной форме. Его можно было увидеть издали, потому что на нем была надета парадная форма, а рядом сновали таможенные матросы в простых куртках.

Каждый день у нас на гати собиралась своя обычная публика старых моряков, которые, в какую бы ни было погоду, ни за что не уйдут с берега раньше конца прилива, и только часа через 2 после него расходятся по домам.

— Ромен! — сказал мне капитан Гуэль, опуская подзорную трубку, — твой отец приехал, беги скорей на набережную, если ты не хочешь, чтобы он очутился здесь раньше тебя! — Мне очень хотелось бежать, но я почувствовал, что от радости у меня словно подкосились ноги. Когда я прибежал на пристань, таможенное судно уже причалило к берегу и отец высадился на берег. Его окружили со всех сторон, жали ему руки, напереерыв предлагали угощения в кабачке. Но он отказался.

— Нужно поскорей поторопиться домой, обнять жену и сынишку.

— Да мальчонка твой уж тут, вот он стоит!

Вечером, хотя погода и резко изменилась к худшему, и буря шумела и море бушевало, но в нашем домике не зажигали восковой свечи перед образом Богоматери.

За последние шесть лет плавания отец насмотрелся на белом свете всяких чудес, а я никогда не уставал слушать его рассказы. По виду он казался нетерпеливым и даже суровым, но на самом деле был самый добрый и покладистый человек; он никогда не уставал говорить со мной и рассказывать мне не о том, что его занимало, и было ему интересно по воспоминаниям, а, наоборот, по много раз повторял именно то, что нравилось моему детскому воображению.

Среди его рассказов у меня был один любимый, который я не уставал слушать никогда, а именно был рассказ о том, как отец был в гостях у дяди Жана.

Во время стоянки в Калькутте отец мой наслышался разговоров о каком-то генерале Флоги, который находился на службе в английском посольстве. Говорили, что он был родом француз и поступил волонтером на службу к Берарскому королю.

Он ходил сражаться с англичанами и удачным действием спас от гибели индийскую армию, за что его и сделали генералом. В другой битве ему оторвало ядром руку, и он вместо оторванной руки — сделал себе серебряную. Когда после этого он торжественно въехал в столицу, держа своего коня за повод этой серебряной рукой, то жрецы упали на землю и

преклонились перед ним; при этом они объявили народу, что в священных книгах Берара сохранилось такое предание, будто царство их достигнет высоты своего могущества тогда именно, когда войска его будут находиться под начальством человека, пришедшего с запада, и которого все узнают по руке, сделанной из серебра.

Отца моего представили этому знаменитому военачальнику, который охотно признал его своей родней и принял с большими почестями. Это и был наш дядя Жан с материнской стороны. Он обращался с моим отцом как нельзя лучше и хотел даже устроить ему торжественный въезд в столицу. Но только служба морская строгая, и отцу пришлось отказаться от всех этих чудес и не отлучаться из Калькутты. Этот рассказ произвел страшно сильное впечатление на мою детскую фантазию.

Дядя с серебряной рукой наполнял собой все мои помыслы, я только и мечтал, что об настоящих слонах, паланкинах и сказочной роскоши индийской жизни.

Мне постоянно представлялись солдаты, телохранители дяди, которые несли дядину серебряную руку.

До этого времени я благоговел перед нашим церковным привратником с его алебардой и шляпой, украшенной золотым галуном и перьями, но с тех пор, что я услышал о двух индийских солдатах, которые были к тому-же еще невольниками моего дяди, мне казалось смешно, как это я мог прежде так восхищаться великолепием и шляпы и алебарды.

Отцу моему нравился энтузиазм, с которым я слушал его рассказы, — зато матушка была в это время настоящей мученицей. Своим материнским чутьем она угадывала, какое впечатление производили на меня эти истории и к каким результатам все это могло со временем привести.

— Ну, зачем ты ему все это рассказываешь, — с тоской говорила она, — он наслушается тебя, да и сам захочет путешествовать, скитаться по белому свету, уплывет в море!..

— Что же за беда, — отвечал ей на это отец, — когда вырастет, пусть будет моряком, как я, и почему бы ему не отличиться так же, как наш дядя Жан?

— «Мне сделаться таким, как дядя Жан, — думал я в это время. — Боже мой! Какое это будет счастье, какой восторг! Отличусь, непременно отличусь, как вырасту, сейчас же уйду в море!» Отец и сам не подозревал, до какой степени он разжигал мою врожденную страсть к путешествиям и к приключениям.

Очевидно, матушке приходилось примириться с мыслью, что я тоже буду моряком. С материнской нежностью она придумывала только, как бы облегчить мне первые шаги этой суровой, полной борьбы и опасностей, жизни, которая ждет каждого моряка, и умоляла моего отца бросить навсегда военную службу на корабле с тем, чтобы, когда он поедет по вольному найму в Исландию, на ловлю рыбы, то взял бы меня с собой, чтобы под его командой я начал суровую школу и сделал первые шаги.

— Все же мне будет не так страшно, если на первый раз он поедет вместе с тобою! — Таким путем она хотела удержать нас обоих на эту зиму дома, потому что ловля рыбы у Исландских берегов начинается только весной, а зимой отдых: идет разгрузка, починка судов и сборы к весне.

Но что значат все наши расчеты, надежды и соображения перед волей рока, который распоряжается нами самовластно и без нашего ведома и посылает нам неожиданно — радость и горе!

Отец мой вернулся домой в августе. С самого его приезда погода стояла чудесная, а потом вдруг испортилась. В сентябре это почти всегда бывает: после периода затишья начинаются бури и ураганы. Только и разговоров было, что о кораблекрушениях близ наших берегов.

Глава III

Один пароход потонул с людьми и грузом у мыса Бланшар. Несколько лодок из Гранвиля пропало без вести, а близ Джерсея все море было покрыто обломками разбитых бурей судов, и даже на сухой земле дороги были завалены сломанными ветками, сучьями и вырванными с корнем кустами. Масса зеленых яблок напала на землю; ветер безжалостно сбил их с родного дерева и они, совсем твердые и кислые, валялись повсюду.

Самые яблони сильно пострадали: некоторые совсем вырвало с корнем, а листья унес вихрь и кружил по земле. Они так пожелтели раньше времени, точно их обожгло огнем.

Все жители Пор-Дье находились в большом страхе, потому что к этому времени возвращаются наши моряки с Новой Земли.

Такая погода продолжалась без перерыва почти три недели.

Наконец однажды вечером вдруг наступило полное затишье и на воде и на суше. Я уже думал, что полоса бурь совсем миновала и снова начнется хорошая погода, и мы с отцом пойдем ловить рыбу. Но за ужином, когда я предложил ему пойти пораньше утром расставить сети, которые были убраны во время бури, он только усмехнулся на мое предложение. — Завтра такой шквал налетит на нас с восточной стороны, что только держись! Солнце зашло в тучу багрового цвета, на небе сильно вызвездило, море точно стонет вдали, а от земли пышет теплом. Увидишь, что завтра будет такая буря, какой тебе еще никогда не приходилось видеть!

Поэтому на утро, вместо того, чтобы идти ловить рыбу, мы стали тесать камни для нашей рубки.

Еще на рассвете поднялся западный ветер, небо было грязно-серого цвета и пересекалось в разных направлениях зеленоватыми просветами, море ушло далеко и только издали доносился его глухой шум, точно вой, то бешеный, то жалобный.

Вдруг отец бросил работу на крыше рубки, остановился и стал пристально смотреть вдаль. На далеком горизонте появилась маленькая белая точка; несомненно, это было судно, которое зловеще вырисовалось на темном фоне серого неба.

— Зачем они сюда идут! Точно не знают, что теперь пристать к берегу нельзя: прямо лезут на верную смерть!

Дело в том, что во время западного ветра берега Пор-Дье были совершенно недоступны.

Молния прорезала тучу, осветила нам на мгновение это судно, а затем оно снова исчезло. Облака ещё сгустились и быстро бежали по небу, черные, зловещие, точно клубы дыма от пожара, разносимые ветром.

Мы с отцом побежали на пристань. Туда же сбежала вся деревня. Все видели судно, значит, оно действительно существовало, и ему грозила неминуемая, страшная опасность.

И в открытом море, и вблизи у наших ног, направо, налево, сколько можно было видеть, море превратилось в одну кипящую пену, точно снежные горы двигались и крутились... Прилив надвигался быстрее обыкновенного с таким оглушительным шумом, что ничего нельзя было слышать на берегу. Несмотря на то, что ветер гнал облака со страшной силой, они спускались все ниже и ниже и, казалось, легли, всей своей тяжестью на белую клокочущую массу воды.

Судно снова замелькало, теперь уже можно было рассмотреть, что это бриг и что он точно замер на одной точке.

— Вот он выкидывает свой брейд-вымпел, — сказал капитан Гуэль, не отрываясь от подзорной трубы, — это бриг братьев Леге.

Братья Леге были самые богатые судовладельцы во всей нашей округе.

— Они просят выслать лоцмана. Да, хорошо им просить, но кто же отважится теперь выйти к ним в открытое море!

Эти слова принадлежали именно самому лоцману, дяде Гузару. Все, стоящие на берегу, были люди, хорошо знающие свое дело, а потому с ним никто не стал спорить, ибо отлично понимали, что он говорил правду.

В эту минуту со стороны деревни увидели старшего из братьев Леге, он бежал, спотыкаясь, к берегу. Ветер был так силен, что мешал ему бежать. Он несколько раз подхватывал его, как охалку старого платья, отбрасывал в сторону. Кое как, с невероятными усилиями, падая, поднимаясь, снова падая, перекувыркнувшись несколько раз, он добрался до береговой насыпи, за которой мы все приютились от ветра. По дороге он потерял свою шляпу и даже не пытался ее догнать и отнять у ветра; одно это уже показывало присутствующим, до чего он был расстроен и напуган, потому что братья Леге были не такие люди, чтобы могли что-нибудь терять; это было давно всем известно. Уже по одному этому все узнали, что бриг принадлежит ему. Сейчас же он подтвердил это и прибавил, что его выстроили и снарядили в Байоне, что экипаж состоит из басков, что он в первый раз вышел в море и не был еще застрахован.

— Я дам двадцать су с бочки, только введите его в порт, — кричал Леге дяде Гузару, дергая его за рукава и за полы.

— Все это прекрасно, — отвечал лоцман; — но чтобы его ввести в гавань, надо прежде выйти к нему в открытое море, а как это сделать?

Волны были так велики, что заливали дамбу, ветер все усиливался и с бешенством уносил в море все, что попадалось ему на пути: камни, песок, водоросли, крыши сторожевых будок и доски; небо, казалось, совсем спустилось в море, и оттого вода и пена казались еще чернее и зловещее.

Когда бриг увидел, что лоцмана с берега ему не высылают, он повернул вдоль берега, видимо, стараясь удержаться на одной линии. Положение его было безвыходное: ждать на одном месте, это наверное значило погибнуть, пытаться же войти в гавань, это тоже было бы крушение, и даже более вероятное. Народ продолжал бежать на взморье со всех сторон. В другое время было бы забавно смотреть, как вихрь выбивал бежавших из рядов, и они, катаясь по земле, старались изо всех сил подняться, поднимались и падали снова. Женщины, как более слабосильные, ложились прямо на землю и ползли на четвереньках.

Леге все не переставал бегать от одного к другому и кричал не своим голосом:

— Двадцать су с бочки! Сорок су!

Он плакал, рвал на себе волосы, умолял, ругался, проклинал судьбу и сулил деньги.

— Вот вы все такие разбойники! — кричал он вне себя: — лезете с услугами, когда не надо, а когда представляется настоящая опасность, вы прячетесь как кроты по своим норам.

Никто ему не отвечал. Некоторые покачивали головами и отворачивались от него, или отходили в сторону, чтобы не слышать его проклятий и ругательств.

— Вы все дрянь дрянью, — кричал он: — тут 300 000 франков пропадают, гибнет целый экипаж людей — а вам все равно. Вы все подлецы и трусы!

Мой отец выступил вперед.

— Давайте лодку, — я попробую их спасти!

— Кальбри, ты храбрец! Ты один честный человек!

— Ну если Кальбри поедет, то я пойду с ним, — сказал дядя Гузар.

— Двадцать су с бочки, сорок су! Я от своего слова не отступлю! — Продолжал кричать Леге.

— Мне ничего от вас не надо, — ответил лоцман с досадой, — и мы пойдем совсем не для вас, значит, отвяжитесь с вашими деньгами, но если я погибну, и моя старуха придет к вам попросить два су на хлеб в воскресный день, то хоть тогда не откажите ей в этом.

— Кальбри, я усыновлю твоего парнишку, — кричал Леге.

— Не в этом дело, — отвечал сурово отец, — а вот нам необходимо достать лодку дяди Гассома. Дашь, Гассом?

Эту лодку звали Сен-Жан, и была она знаменита на всем нашем берегу тем, что на ней можно было ехать с парусом в какую угодно погоду.

— Я не отказываюсь дать лодку, — отвечал с видимым смущением дядя Гассом, — но я доверяю ее одному Кальбри и он же должен привести ее обратно.

Отец схватил меня за руку. Мы пустились бежать к тому месту, где была привязана

лодка. В одну минуту мы укрепили парус, прикрепили якорь и руль. Кроме лоцмана и моего отца, еще надо было третьего матроса.

Один из двоюродных братьев вызвался ехать, но его старались удержать и отговорить.

— Кальбри едет же, однако, — ответил он, — ну и я поеду!

Отец взял меня на руки, и голосом, который я слышу и теперь так же ясно, как я слышал тогда, сказал мне, целуя меня: — Бог один знает, что может случиться со мной, скажи матери, что я целую ее!

Главная трудность заключалась в том, как выйти из гавани. Бечевщики напрасно старались тянуть лодку вдоль дамбы, они не могли справиться с волнами, потому что порывами ветра у них вырывало веревку и сами они падали беспрестанно на землю. Береговая дамба почти вся была залита водой, между тем надо было как-нибудь приспособиться, чтобы вывести лодку в открытое море.

Сторож у маяка обвязал себя веревкой с привязанным на ней кабелем (перлинь) и, пока люди тянули за бечевку, он шел вдоль по парапету, придерживаясь обеими руками за железные перила. У него не было надежды, что он один выведет Сен-Жан, так как 50 рук с трудом могли ее тащить на канате, но он хотел только зацепить канатом якорь, который находился в конце дамбы, тогда лодка найдет точку опоры и может двигаться. Три раза волна его совсем заливала, но он привык к таким водяным сюрпризам и ему удалось-таки в конце концов зацепить перлинь. Сен-Жан начал медленно подвигаться, ныряя так глубоко в воду, что каждую минуту волна могла его залить и опрокинуть.

Но вдруг натянутый канат ослабел и Сен-Жан понесся вдоль дамбы все быстрее и быстрее.

Я взобрался на батарейный гламс, уцепился руками и ногами за сигнальную мачту и стал смотреть. Мачтагнулась и трещала под моей тяжестью, как живая, как в то время, когда ее качало ветром на полянке родного леса.

Я заметил у руля отца, а рядом с ним стояли два человека, откинувшись назад спиной к ветру. Сен-Жан летел скачками, то он на минуту останавливался, то снова исчезал в волнах расвирипевшего моря, которое играло с ним, как со щепкой, и покрывало пеной и водяной пылью.

Как только погибающий бриг заметил попытку отважных моряков его спасти — он переменял направление и повернул прямо к маяку. Сен-Жан, очутившись в открытом море, шел ему наперерез и через несколько минут они соединились. Лодка подошла под бугсприт большого судна, завертелась на одном месте, но ее тотчас же привязали.

— Буксировка не удержится, — сказал возле меня чей-то голос.

— Если бы даже она и удержалась, то им все-таки невозможно взобраться на бриг! — отвечал ему другой.

В самом деле, мне тоже показалось совершенно невозможным, чтобы Сен-Жан мог так близко подойти к бригу, и чтобы дядя Гузар мог на него прыгнуть. Или дядя Гузар должен был свалиться в море, или лодка потонуть. Соединенные вместе, носимые одним и тем же порывом ветра, толкаемые одной и той же волной судно и лодка приближались к входу в гавань.

Когда бугсприт заливало волной и палуба становилась ребром, видны были мостик и фигуры людей, которые цеплялись за что попало, только бы не свалиться в море.

— Поднимайся же, дядя Гузар, ну еще, еще! Старайся же, голубчик! — Кричал Леге подпрыгивая.

Уже три или четыре раза дядя Гузар делал попытку вскочить на палубу судна, но в это время волна разъединяла их и на такое пространство отбрасывала друг от друга, что это становилось невозможным.

Наконец бриг поравнялся на один момент с Сен-Жаном и, когда волна подняла его, лоцман кое-как перепрыгнул на палубу и крепко уцепился за ванты.

Казалось, ветер победил все препятствия, все сровнял, разрушил и снес: он дул не затихая ни на секунду, не давая вздохнуть ни людям, ни воде; при этом и ветер и море так

ревели, что ничего не было слышно. Под этим натиском урагана волны вздымались бесформенной громадой и в вихре поглощали друг друга и рассыпались, как горы снега.

Бриг несся, как стрела, подхваченная бурей. Его мачта и парус еле-еле держались.

Море казалось издали одной белой скатертью пены; время от времени судно начинало подбрасывать, как перышко, всякую минуту море могло его поглотить. Во время одного из таких натисков сорвало стеньгу. Из воды мотался один клочок паруса; бриг летел по волнам траверсом. Ему оставалось всего каких-нибудь 100–200 метров до входа в гавань. Вдруг один общий крик вырвался у всех присутствующих на берегу. Лодка дяди, на которой оставались мой отец и его двоюродный брат, следовала за бригом на небольшом расстоянии от него, чтобы не разбиться об его массу, но вот на бриге подняли треугольный парус; бриг перерезал дорогу лодке и совершенно закрыл ее своей темной массой. Две секунды спустя бриг вошел в фарватер.

Я, конечно, следил с напряженным вниманием только за лодкой и видел, что бриг вошел в гавань, а лодка нет.

Стесненная проходом брига, она не успела попасть за ним, потому что вход был слишком узок и она летела к маленькой бухте, вправо от мола.

В этом месте во время бури море было спокойнее, но в этот день, как и везде, на необозримом пространстве море и тут был грозно. Страшный ураган гнал все от берегов. Парус в лодке был спущен, якорь брошен в море, чтобы таким образом удержаться носом к морю.

Между ними и берегом возвышался целый ряд скал.

— Надо ждать с лишком полчаса, пока скалы покроет водой, — сказал кто-то.

Весь вопрос был в том, выдержит ли якорь, не оборвется ли веревка? Устоит ли Сен-Жан против напора волн, или же будет ими поглощен? Хотя я был ребенок, но настолько привык к морю, чтобы понять, какой страшной опасности подвергалась лодка и те, кто в ней находился. Вокруг меня то и дело раздавались тревожные вопросы: «Что-то будет дальше?»

— Кальбри превосходный пловец! — говорил один.

— Все это так, но разве можно плыть в таком кромешном аду?

— Если они продержатся еще хоть немного, — говорил третий, — то могут сесть на мель.

Ну, а если Сен-Жан будет унесен в открытое море, то его разобьет как щепку. Доску и ту потопило бы в этом вихре воды, травы, камней и пены, а тут все это вместе несется к берегу, кружится, хлещет и пробивает вымоины в дюнах.

Волны едва налетят на утесы и не успеют отхлынуть назад, как встречаются с новым прибоем. Они со страшной силой наскакивают одна на другую, образуют горы воды и все сокрушают на своем пути. Я задыхался от ужаса, не спускал глаз с Сен-Жана, и все время замирал от страха и тоски. Вдруг слышу — меня сзади обхватили две руки; я обернулся, это было матушка, обезумевшая от горя. Она все видела с высоты фalezы и прибежала, не помня себя. Нас окружили со всех сторон; капитан Гуэль и другие знакомые утешали нас как могли, старались всячески успокоить и уверяли, что неминуемой опасности еще нет.

Моя бедная мать не отвечала ни слова и только не спускала глаз с бушующего моря.

Вдруг раздался такой раздирающий крик, что на минуту заглушил вой бури. Якорь сорвался! Мать упала на колени вместе со мной. Когда я снова поднял голову, то увидел, что Сен-Жан несется на гребне гигантской волны траверсом, волна подняла, ее как щепку и бросала во все стороны так, что почти перенесла через утес, но тут отбой волн встретился с прибоем, лодка стала ребром, ее закружило в вихре сплошной пены, и она исчезла под водой.

Дальше я ничего не видел и не помнил. Только двое суток спустя после этой ужасной сцены нашли изуродованный труп моего отца, а тело его двоюродного брата море поглотило навсегда.

До этой страшной катастрофы целых шесть лет отец плавал по морю, а мы жили одни. Но это не была та страшная пустота отчаяния, которая наступила для нас с матушкой после его гибели. Тогда оставалась надежда свидеться, нам было скучно, но ожидание его приезда

всегда утешало нас надеждой на свидание, а теперь впереди оставалось одно горе и отчаяние.

Глава IV

Хотя смерть отца и не повергла нас в полную нищету, так как оставался домишко и немного земли, но для того, чтобы прокормить нас обоих, матушка принуждена была постоянно работать. Она еще до замужества славилась своим умением гладить, и так как чепчики в Пор-Дье считаются необходимой принадлежностью и даже гордостью женского костюма, то она нашла легко себе работу. Господа Леге считали себя тоже обязанными нам помочь.

— Мой брат и я будем давать вам работу раз в неделю, а это составит четыре дня в месяц. И так круглый год; это не шутка! — сказал старший брат.

Этим ограничились заботы о нас со стороны обоих братьев. Как видите, им недорого пришлось заплатить за погибшую человеческую жизнь.

Рабочий день в те времена, о которых я вам рассказываю, считался по солнцу. Таким образом, утром до школы и днем после занятий в школе я был предоставлен самому себе и мог делать все, что мне было угодно; а мне больше всего нравилось ничего не делать, бродить по морскому берегу или по дамбе, смотря по тому, когда был отлив или прилив.

Матушка старалась всячески удержать меня дома, но все ее усилия были бесполезны. У меня всегда были свои доводы, чтобы улизнуть из дому.

Иногда вместо того, чтобы идти в школу, я отправлялся собирать раковинки после отлива или же убегал на мол и ждал судов, которые возвращались с Новой Земли и смотрел, как их разгружали.

Однажды во время особенно большого прилива меня неудержимо потянуло на берег, и я решил удрать из школы на весь день. Это было в конце сентября, и на морском берегу в эту именно пятницу по моим соображениям, должны были открыться скалы, которых уже давно не было видно, потому что обыкновенно они находились под водой, а я так давно не наслаждался прогулкой по ним!

Поэтому я забрался на дюны, где, в ожидании отлива, уселся завтракать. Мне оставалось его ждать еще более двух часов.

В этот именно роковой день я встретился с человеком, который имел огромное влияние не только на мой характер, но и на всю мою последующую жизнь. Однако буду рассказывать все по порядку.

Прилив начался с такой силой, что походил на наводнение, и, если глаза отрывались хоть на минуту от скал, то в следующую минуту уже их заливало водой; они (скалы) покрывались ею, как скатертью, и так тихо и незаметно, точно тонули. При этом волны едва заметно приподнимались над водяной поверхностью; только линия белой пены разделяла лазурь неба и желтый песок на берегу.

Воздух был такой прозрачный, что можно было видеть гораздо дальше, чем обыкновенно; я совсем ясно различал мыс Вошель и верхушку горы д'Анваль, которые были видны простым глазом только в очень редких случаях.

К моему большому нетерпению отлив долго не начинался, а затем вода стала убывать с такой же тихой и поразительной быстротой, как и прибывала.

Я тотчас же пошел за уходящим морем, спрятав предварительно в вымоинах фалезы (дюны) свою корзиночку и башмаки, и зашагал по песку голыми ногами; так интересно было ступать по мокрому песку и следить, как оставались глубокие следы от ног и быстро наполнялись просачивающейся водой.

Наши берега вообще песчаные и ровные, но на них встречаются то здесь, то там кучки камней, которые вода в своем непрерывном разрушительном влиянии не успела еще

сокрушить. Они чернели во время отлива, точно островки, и в их дырках легко можно было ловить крабов, креветок и собирать морские водоросли.

Вдруг я услышал, что меня кто-то окликнул.

Виноватые люди обыкновенно не отличаются большой храбростью. На меня напала минута страха. Однако, осмотревшись кругом, я увидел, что бояться мне нечего. Тот, кто меня окликнул, наверно не пошлет меня обратно в школу.

Это был старый господин с белой бородой, которого мы прозвали в нашей деревушке господин «Воскресенье», потому что у него был верный слуга по прозвищу «Суббота». Настоящее имя этого старого господина было г-н де-Бигорель. Он жил на маленьком островке, в четверти часа ходьбы от Пор-Дье.

Прежде, когда-то, островок этот соединялся с материком узким перешейком, но г-н Бигорель перерыл его и обратил таким образом свое местопребывание в настоящий остров, который море во время прилива обмывало со всех сторон.

Господин Бигорель имел репутацию самого большого оригинала на тридцать лье в округности. Главным образом его считали чудачком, потому что он во всякую погоду ходил с огромным зонтиком, раскрытым над головой, а также и потому еще, что он жил очень уединенно, ни с кем не знакомился и не разговаривал. По виду он казался очень суровым, но в то же время его никто не боялся и все его считали добряком.

— Малец! Ты что тут делаешь? — закричал он мне.

— Ловлю крабов.

— Ладно, брось твоих крабов, пойдем за мной, ты понесешь мою сетку.

Я ничего не отвечал, но по моему лицу он ясно видел нежелание идти с ним.

— А! Ты не хочешь... Почему?

— Потому что...

— Молчи, я сам сейчас скажу тебе, почему ты не хочешь! Как тебя зовут?

— Ромен Кальбри.

— Ты сын того Кальбри, который погиб в прошлом году, спасая бриг? Твой отец был хороший и храбрый человек!

Я очень гордился своим отцом, а потому слова старика меня тронули.

— Тебе десять лет, — сказал он, положив мне руку на плечо и пристально глядя мне в глаза. — Сегодня пятница; теперь двенадцать часов, ты удрал из школы и ловишь крабов.

Я покраснел, потупился и опустил глаза в землю.

— Ты удрал из школы, — продолжал он, — это не трудно отгадать, а теперь я скажу тебе, почему ты это сделал. Ну посмотри мне в глаза. Тебе скучно в школе, лень учиться, правду я говорю?

— Да, сударь, а также чтобы видеть «Собачью голову».

— Я иду тоже к «Собачьей голове», а потому бери сетку, повторяю тебе, и пойдем вместе со мной.

Я на этот раз послушно пошел за ним. Меня поразило, что он так скоро меня раскусил. Хотя я давно знал господина Бигореля по виду, но в первый раз в жизни мне пришлось с ним говорить. Я еще не знал тогда, что его интересовало в людях больше всего внутренние побуждения, руководящие их поступками. Тонкая наблюдательность, проницательный ум и долгий опыт почти всегда наводили его на истину, а так как он никого и ничего не боялся, то и высказывал откровенно свое мнение, не считаясь с тем, насколько это могло нравиться.

Хотя мне очень не хотелось говорить с ним после того, что он пристыдил меня, но я принужден был поневоле отвечать на все его вопросы, которые он не переставал мне задавать дорогой. Не прошло и четверти часа, как он уже знал все подробности обо мне самом, о моих родителях и о нашей жизни вообще. Рассказ о моем дяде Жане с серебряной рукой показался ему очень занимательным.

— Так, так, — заметил он как-бы про себя, — смесь нормандской и финикийской крови, предприимчивый искатель приключений, бесстрашный и любознательный.

Вопросы и разговоры не мешали ему по мере того, как мы продвигались вперед по

открытому отливом песчаному пространству, собирать раковины, растения, травы и складывать все это в сетку, которую я нес позади его.

— Как это называется? — спрашивал он меня то про одно, то про другое.

Почти всегда я не находил ответа, хотя и знал по виду все эти прибрежные травы и растения, но названия их были мне неизвестны.

— Ты настоящий сын своей деревни, — сказал он, наконец, с досадой.

— Для вас море служит только средством к добыче, оно ваш вечный враг, против которого надо всегда быть настороже; вы не видите и не хотите знать того, что оно для вас кормилец и мать, такая же, как и земля, что есть на дне его подводные леса, не менее населенные, чем те, что находятся на поверхности земли. Этот, уходящий в бесконечную даль, горизонт, эти облака, эти волны ничего иного не говорят вам, как только об ураганах, кораблекрушениях и гибели людей.

Он говорил это все так горячо и живо, что слова его запали в мою детскую душу, хотя я и не ясно понимал их смысл. Но впечатление от них было так сильно, что я до сих пор точно вижу перед собой его фигуру с огромным распущенным над головой зонтиком и с протянутой в даль горизонта рукой, при этом он смотрел прямо мне в глаза пронизывающим взором.

— Поди сюда, — продолжал он, — поди, я покажу тебе одну интересную вещь, — и он показал на расщелину в скале, откуда вода еще не успела уйти. — Я хочу немного пояснить тебе, что такое море?

— Например, знаешь ли ты, что это за штука?

Он наклонился и указал пальцем на небольшой стебелек растения, обвивающий камень. Стебель этот, буро-красного цвета, имел желтую чашечку на конце, края чашечки были окружены белоснежной каемкой.

— Скажи мне, как ты думаешь, что это? — трава, растение или животное?

Я молчал.

— Ты ничего об этом не знаешь? Так вот, слушай, мой милый, это — животное. Если бы у нас было побольше времени остаться здесь и понаблюдать, ты бы увидел, как это существо начнет двигаться и отделяться от камня, а ты знаешь, что цветы не ходят. Всмотрись внимательнее и ты увидишь, что оно похоже по виду на цветок, а между тем оно вытягивается, сокращается, покачивается. Ученые называют его морской звездой. Но чтобы убедить тебя вполне, что это действительно животное, а не растение, сделаем маленький опыт: поймай мне креветку; ты ведь знаешь, что цветы не едят?

— Знаю, — ответил я с недоумением.

— Ну смотри же, — он взял креветку и бросил ее в чашечку морской звезды; чашечка закрылась сама собой и поглотила креветку. Я был очень этим удивлен, потому что раньше никогда не обращал внимания на жизнь морских животных.

Мы пошли дальше.

В дыре, наполненной водой, нашел маленького ската, он съежился, хотел спрятаться от меня, зарывшись в песок, но его полосатое тельце с белыми и темными пятнышками выдало его; я принес показать его г-ну Бигорелю.

— Ты нашел и поймал ската единственно потому, что его кожа с отметинами; по этим же признакам его отыскивают и прожорливые рыбы. На дне моря происходит непрерывная война, причем сильные уничтожают слабых так же, как это, к несчастью, случается часто и на земле. Эти бедные скаты не замедлили бы совершенно исчезнуть с лица земли, так как они плохо плавают, если бы природа не позаботилась о них. Посмотри на их хвостик: он весь усеян колючими иглами, так что в бегстве хвост служит для них щитом; враги узнают его по крапинкам на коже и часто отступают, потому что никак не могут его ухватить. В этом явлении сказывается закон равновесия... Впрочем, для тебя это еще не понятно, теперь только наблюдай, а поймешь его позднее, когда вырастешь.

Я был от природы мальчик любознательный, поговорить мне было не с кем; поэтому я с большим интересом слушал рассказы моего нового знакомого. Он, заметив это, с видимым

удовольствием отвечал на мои вопросы. Мой первый страх рассеялся окончательно и я разболтался вовсю.

Таким образом, продвигаясь вперед и вперед, мы дошли до скал «Собачьей головы». Сколько времени мы оставались там, я не могу хорошенько припомнить. Понятие о времени для меня исчезло: я бегал со скалы на скалу, приносил г-ну Бигорелю раковины, растения, животных; я наполнил свои карманы массой вещей, которые казались мне чрезвычайно любопытными в тот момент, когда я их находил; но потом я их выбрасывал, чтобы заменить другими, имевшими неоспоримое преимущество — новизны.

Вдруг, оглядевшись кругом, я не увидел больше берега, он точно исчез в легком облаке тумана. Небо было везде одинакового серо-бледного цвета, а море такое тихое, что мы едва слышали его позади нас. Если бы я был один, то немедленно пошел бы обратно домой, потому что знал по опыту, как трудно в тумане найти дорогу по берегу, но так как г-н Бигорель не говорил ничего, то не смел сам ему об этом напомнить, значит, нечего было беспокоиться.

Между тем туман быстро увеличивался, он окутал весь берег и продвигался к: нам, как облако дыма, поднимаясь от земли прямо к небу.

— Вот и туман, — воскликнул г-н Бигорель, — если мы не хотим поиграть в опасные жмурки, то должны немедленно возвращаться домой. Бери сеть, Ромен.

В эту самую минуту облако тумана нас настигло, перешло через нас, и мы ничего больше не увидели — ни берега, ни моря, которое было в пятидесяти шагах позади нас, все точно погрузилось в серый мрак.

— Море позади нас, — сказал г-н Бигорель, видимо, не беспокоясь, — нам нужно только идти все прямо вперед. Идем же, живо!

Идти все прямо оказалось не так-то легко.

Перед нами был ровный гладкий песок — и только. Для руководства у нас не было ни старой колеи, ни наклона или холмика, чтобы определить, подымаемся мы или опускаемся. Мы шли точно с завязанными глазами. Опасность потерять направление к берегу грозила каждую минуту, а до него оставалось идти добрых полмили.

Мы шли уже около десяти минут и вдруг должны были остановиться, потому что на пути перед нами очутилась гряда прибрежных скал.

— Это «зеленые камни», — сказал я.

— Нет, ты ошибаешься, это Польдю.

— Сударь, уверяю вас, что я не ошибаюсь, это «зеленые камни».

Он меня слегка потрепал по щеке.

— Кажется, у тебя довольно упрямая голова, — сказал он.

Между тем было очень важно решить вопрос, где мы? Если это действительно были «зеленые камни», то мы должны были взять вправо, если же наоборот, г-н Бигорель прав, и это была группа скал «Польдю», мы должны были повернуть налево, и рисковали очутиться спиной к берегу.

Среди белого дня нет ничего легче, как отличить эти две группы одну от другой, но среди тумана мы видели перед своими глазами одни только ближайшие камни, покрытые водорослями и больше ничего.

— Прислушаемся, — сказал г-н Бигорель, — откуда слышен шум моря, тогда мы узнаем, где берег.

Но сколько мы ни прислушивались, мы ничего не слышали, ни звуков с берега, ни шума моря. В воздухе не было ни ветерка, ни звука — все замерло, точно мы погрузились в белую вату, которой нам заткнули и уши, и глаза.

— Это Польдю, — решил, наконец, г-н Бигорель.

Я не смел больше ему противоречить и безмолвно повернул за ним влево.

— Поди ко мне, дитя мое, — ласково сказал он и взял меня за руку, — не будем оставлять друг друга ни на минуту. Раз, два, три... Идем вперед!

Мы шли еще минут десять, вдруг я почувствовал, что он сжал мою руку сильнее; до нас

стал доноситься слабый плеск воды.

— Я, очевидно, ошибся, — сказал г-н Бигорель, — твоя правда, это были «зеленые камни», а не «Польдю».

Мы прямо шли к морю, а не от него, и теперь были лишь в нескольких шагах от воды.

— Ты был прав, милый, — повторил еще раз старик, — надо нам было повернуть вправо! Вернемся же назад.

Вернуться, но куда? Это было легче сказать, чем сделать. Мы узнали одно, где находится море, потому что слышали его плеск, тихий, но слегка усиливающийся; удаляясь же от него, мы теряли всякую нить и не знали более, куда идем: прямо к берегу или же вдоль береговой линии. Все слилось в непроницаемом белом мраке, который становился все гуще и мрачнее с наступлением вечера и, наконец, сгустился до того, что мы не видали больше кончиков наших сапог. Г-н Бигорель едва мог разглядеть часовую стрелку на часах. Было уже 6 часов. Сейчас должен был начаться прилив.

Надо было торопиться, если волна нас достигнет, она пойдет быстрее нас. У моря семимильные сапоги! По дрожанию руки моей г-н Бигорель заметил, что я струсил.

— Не бойся, дитя мое, — наверное, ветер поднимется с берега, рассеет туман и прогонит его в открытое море; кроме того, мы увидим маяк, его скоро должны зажечь.

Во всем этом было для меня мало успокоительного, я хорошо понимал, что в таком тумане мы не можем увидеть огонь маяка, и в то же время я вспомнил о трех женщинах, которые в прошлом году, как и мы, были застигнуты туманом на берегу во время начавшегося прилива и утонули. Их трупы были найдены только через восемь дней.

Я видел, как их принесли в Пор-Дье, и у них были вздутые, зеленые лица, распухшие и страшные... Несмотря на все усилия удержаться, я не вытерпел и заплакал. Г-н Бигорель нисколько не рассердился на меня за это, наоборот, он постарался всячески успокоить меня добрыми словами.

— Давай кричать, — сказал он, — между прочим, наверху фалезы должен находиться таможенный сторож, он услышит наш крик и ответит нам. Надо же в самом деле, чтобы эти грубияны были хоть на что-нибудь годны.

Мы закричали: он сильным голосом, а я детским прерывающимся от рыданий. Но нам не ответил никто, и это мрачное молчание наполнило меня еще большим ужасом, точно я был уже погребен навеки на дне моря.

— Пойдем еще вперед, — сказал он, — можешь ли ты идти дальше? — Он взял меня снова за руку и мы пошли наудачу. По тем словам, которые он говорил мне время от времени, чтобы меня ободрить, я чувствовал, что он и сам был страшно встревожен и не верил тому, что он говорил для моего успокоения.

После доброго получаса ходьбы на меня напало полное отчаяние, я выдернул свою руку и повалился на песок.

— Оставьте меня тут умереть, сударь, — сказал я, заливаясь слезами, — все равно, нам не уйти от смерти.

— Вот еще, не угодно ли, — теперь начинается второй прилив, не хочешь ли ты вытереть слезы! Довольно плакать, вставай и пойдём! Разве можно говорить о смерти тому, у кого дома есть мать, ведь она же ждет тебя и беспокоится.

Но даже этот последний аргумент оказался бесполезным, я оставался недвижим и не мог пошевеливаться от усталости и охватившего меня ужаса. Как вдруг я закричал.

— Сударь! Послушайте!

— Ну что, мой бедный мальчик?

— Наклонитесь ко мне поскорей!

— Ты хочешь, чтобы я тебя поднял?

— Нет, сударь, пощупайте! Вот здесь!

Я взял его руку и положил ее рядом со своею ладонью на песок.

— Ну что ж из этого?

— Разве вы не чувствуете — вот вода!

Наши берега состоят из очень мелкого песка, глубокого и пористого. Во время отлива песок на взморье, пропитанный водой, как губка, образует маленькие ямочки, почти незаметные, которые потом бегут струйками по земле почти до самого моря.

В одну из таких именно ямок попала моя рука.

— Берег там, — сказал я, протягивая руку по направлению откуда стекала вода.

В ту же минуту я вскочил на ноги. Надежда мгновенно вернула меня к жизни. Теперь г-ну Бигорелю не нужно было больше меня тащить. Я сам быстро продвигался вперед, постоянно нагибаясь и ощупывая почву рукой, и по течению воды продвигался навстречу направлению водяных струй.

— Ты молодец, — сказал мне г-н Бигорель; — без твоей догадливости, я думаю, мы бы действительно погибли.

Но не прошло и пяти минут после этого, как я больше не ощущал воды под руками. Мы прошли еще несколько шагов, и под рукой был только сырой песок.

Воды больше нет. Он наклонился и также стал щупать песок обеими руками, все тот же влажный песок и больше ничего. В ту же минуту я услышал легкий плеск воды; г-н Бигорель тоже услышал его.

— Ты ошибся, голубчик, сказал он, мы все время шли к воде, а не от нее.

— Нет, сударь, уверяю вас, что нет. Если бы это было так, как вы говорите, то песок должен был быть мокрее.

Он ничего не возразил; мы снова остановились в нерешительности и еще раз потеряли всякую руководящую нить. Он вытащил часы.

Было так темно, что невозможно было разглядеть часовую стрелку, но он заставил их бить, они проббили шесть и три четверти. Прилив уже начался около часа.

— Ну вот видите, сударь, ясно, что мы продвигаемся к берегу, а не обратно, а то бы вода догнала нас уже давно.

Как бы в подтверждение моих слов мы услышали позади себя отдаленный рокот моря; этот глухой шум ясно показывал, что вода прибывала позади нас.

Это был «затор», или ложбинка. Наши берега состоят из рыхлого и сыпучего песка и поэтому не остаются вполне гладкими; они образуют время от времени небольшие возвышения, а между этими возвышениями находятся углубления, наполненные после прилива водой.

Все эти изменения почвы едва заметны для глаз, но для воды они очень чувствительно разнятся от ровного пляжа: во время прилива углубления наполняются раньше, когда взморье еще не под водой, и образуют островки, омываемые, с одной стороны, волной прибывающего прилива, а с другой стороны, вода бежит внутри их, точно речка. Очевидно, мы пришли к одной из таких реченок. Весь вопрос в том, глубока она, или же нет?

— Нам надо непременно перебраться через нее, — сказал г-н Бигорель, — держись за меня крепче.

Я колебался.

— Что ты лучше хочешь, промочить голову или же ноги? Я предпочитаю промочить ноги.

— Нет, сударь, мы так не перейдем, нас снесет!

— Разве ты лучше хочешь, чтобы нас залило приливом?

— Нет, сударь, я думаю о том, как сделать лучше; вот что мы сделаем: вы проходите первый на ту сторону, а я останусь на этой стороне и буду вам кричать. Вы продвигайтесь в направлении, противоположном моему голосу. Когда вы переправитесь, то начинайте мне кричать, я пойду на ваш голос.

— Переходи ты первый!

— Нет, сударь, лучше начинайте вы, я плаваю лучше вас.

— Ты молодчина и храбрец, пойдешь, я тебя поцелую за это.

И он обнял меня и поцеловал так нежно, точно родного сына. Его ласка тронула меня до глубины души.

Времени терять не приходилось: море быстро прибывало. С каждой минутой шум его позади нас усиливался. Г-н Бигорель первый вошел в воду, а я начал ему кричать.

— Ты не кричи, — сказал он мне, скрываясь в тумане, — а лучше пой какую-нибудь песню, чтобы слова были слышны.

— Хорошо, сударь!

Я начал петь так громко, как только мог, известную песенку про нормандца Роже, которую у нас знает всякий ребенок. Спел один куплет и прислушался.

— Чувствуете ли вы, сударь, дно под ногами?

— Да, дитя мое, кажется, земля поднимается, продолжай петь!

Я запел второй куплет; и только что хотел запеть третий, как услышал голос г-на Бигореля:

— Ну, Ромен, теперь твой черед, я выбираюсь на сухой песок! Вода доходит только до колена, переправляйся, — при этом, в свою очередь, он затянул заунывную песню, да такую печальную, что у меня невольно сердце заныло.

Несмотря на это, я храбро вошел в воду; я был ростом намного меньше г-на Бигореля, поэтому скоро потерял дно, это была не большая еще беда, я плавал, как рыба, но течение воды было сильное: я с трудом с ним справлялся, меня относило, пришлось побиться минут десять, пока я добрался на другую сторону и мы вместе вышли на сухой песок. Он вздохнул с таким облегчением, что я тут только понял, как он боялся за меня.

— Отдохнем минутку и понюхаем табачку!

Но едва он дотронулся до своей табакерки, как воскликнул:

— Вот так штука, табак-то мой превратился в кофейную гущу, да и часы хороши: колесики вертятся, как водяная мельница! Что-то скажет «Суббота» на такие порядки!

Я приободрился, сам не знаю почему, страх мой почти совсем пропал. Мне казалось, что теперь мы уже наверно спасены.

На самом же деле это было совсем не так.

Нам оставалась до берега большая часть дороги сравнительно с той, которую мы прошли.

Прежняя опасность несколько не уменьшилась. Мы ежеминутно рисковали сбиться с пути, то есть потерять направление к берегу; тем более что к нам от него не долетало ни одного звука, который бы успокоил наши сомнения. Не было слышно ни звука человеческого голоса, ни мычания скота, ни хлопанья бича, ни малейшего такого шума, который мог бы подтвердить нашу догадку, что земля именно там. Одно зловещее мрачное молчание...

Туман еще сгустился, вечерние сумерки быстро наступали, а позади до нас доходил глухой шум прилива. Море оставалось единственным нашим руководителем. Но в то же время оно могло быть для нас самым коварным и страшным врагом.

— Если мы будем двигаться вперед слишком быстро, — рассуждал г-н Бигорель, — мы можем снова потерять верную дорогу, если же промедлим — оно нас настигнет и поглотит раньше, чем мы доберемся до прибрежных камней, где подъем задержит прилив. — Но все же пойдем вперед, рука об руку, Ромен!

Мы осторожно пошли, причем я постоянно наклонялся, чтобы пощупать песок. Напрасная надежда, я не ощущал, как прежде, струек сбегających к морю воды. Очевидно, мы вышли на линию маленьких отмелей, где вода застаивалась в углублениях или же бежала ручейками параллельно морскому берегу и разливалась во все стороны.

Надежда, которая так оживила меня после того, что мы благополучно перебрались через опасное место, начала снова ослабевать. Мы шли еще минут пять в самом мрачном и отчаянном состоянии духа, вполне предоставляя себя на волю Божию.

Вдруг мы одновременно вздрогнули и остановились: откуда-то раздался удар церковного колокола и глухо прокатился в мертвой атмосфере окружавшего нас тумана. Через две-три секунды послышался второй удар, затем третий, еще и еще...

Очевидно, звонили к вечерне в Пор-Дье. Нам оставалось только идти на этот

призывный благовест — и тогда мы будем спасены.

Ничего не говоря друг другу, мы пустились бежать, отлично зная, что звон к вечерне обыкновенно продолжается недолго. Вы можете себе представить, с каким лихорадочным волнением мы считали каждый удар и ждали, что вот-вот звон прекратится. Из-за нескольких лишних минут мы могли и спастись и погибнуть. Несмотря на то, что мы бежали, забыв всякую усталость, церковный звон вскоре замолк, а мы все еще были на взморье, на гладком ровном песке. Может быть, берег был и близко от нас, всего в нескольких шагах, может быть, нам стоит протянуть руку, и он тут, да мы ничего не знали и не видели, где он. Каждый наш шаг мог служить и к нашему спасению и, наоборот, мог отдалить нас от него!

— Остановимся, дальше на авось нельзя идти, дитя мое, — сказал г-н Бигорель. — Пощупай-ка песок!

Я прижал обе ладони к земле и ждал, что просочится вода, но, увы, песок оставался сухой.

— Ты не сосчитал, сколько мы перешли лощинок.

— Нет, сударь!

— Значит, неизвестно, сколько их может быть впереди! Счастье наше, если мы миновали их все. Тогда нам останется ждать, когда море будет совсем близко, мы побежим вместе с ним к земле, опережая его, сколько хватит наших сил! Но, если же нам предстоит перебираться еще через несколько таких препятствий, тогда течение занесет нас так далеко, откуда нам будет нельзя и выбраться.

Я отлично понимал справедливость слов г-на Бигореля. С течением воды во время прилива справляться страшно трудно.

Море могло отбросить нас к скалам, о которые мы разобьемся, как щепки. Эта близость возможного спасения, с одной стороны, и гибели неминуемой и ужасной, с другой, после столько усилий и борьбы привела нас обоих в полное отчаяние.

Мы совсем не знали, на что решиться, что делать дальше, куда идти, — направо, налево или все вперед. Между нами и остальным миром находилось все то же непроницаемое облако ваты.

В момент, когда перестал звонить колокол, мы по крайней мере, знали наверно, с какой стороны была земля. Продолжая продвигаться наудачу, мы могли сделать один неверный шаг и потерять последнюю надежду на спасение.

— Если бы только поднялся ветер, тогда туман рассеется, и мы увидели бы огонь на маяке, — сказал г-н Бигорель.

Но воздух был все такой же тяжелый, неподвижный, туман такой же густой, и ожидать ветра в том положении, в каком мы находились, было мало основания.

Нас мог спасти шум или какие-нибудь звуки на берегу, но на это было также мало надежды. По всем вероятностям, мы находились на южном берегу, против пустынной дюны, где в такой поздний час наверно не было ни души. Оставалось одно: ожидать чуда для нашего спасения! — И чудо совершилось.

Церковный колокол, который совсем было перестал звонить, вдруг неожиданно раздался снова среди мертвой тишины; судя по трезвону, это были чьи-то крестины.

На этот раз мы были спасены: крестильный звон длится у нас редко меньше получаса, а иногда и дольше. Сторож старается изо всех сил, чтобы получить за это от крестного отца побольше «на чай».

Меньше чем в 10 минут мы добежали до каменистого уклона берега, поднялись на него, прошли дюны и скоро очутились у плотины, которая соединяла островок Пьер-Гант с землей. Г-н Бигорель хотел повести меня к себе, но я отказался, потому что торопился домой. Я боялся, что матушка вернется с работы раньше меня и будет беспокоиться, где я пропадаю.

— Это правда, теперь надо торопиться домой, — сказал старик, тогда прощай, дружок, и скажи своей маме, что завтра вечером я к ней зайду поговорить о тебе.

Такое поручение было мне совсем не по душе: он, наверно, расскажет ей, что вместо школы я бегаю по взморью, а это, я знал, очень огорчит маму. Опасения мои были напрасны, мать еще не вернулась с работы, так что я успел до ее прихода высушить свое мокрое платье и развести огонь.

— Завтра, мама, к тебе хотел придти г-н Бигорель.

— Зачем? Где ты его видел? — с удивлением спросила мать.

— На берегу, сегодня днем.

— Вот чудеса! Какое у него может быть до нас дело?

Я промолчал.

На другой день, вечером, согласно своему обещанию, он пришел к нам. Я следил за его приходом и, заслышав шаги, намеревался убежать, но это мне не удалось.

— Рассказал ли вам Ромен, г-жа Кальбри, о происшествиях вчерашнего дня? — проговорил он, входя в комнату.

— Нет, сударь! Он ничего мне не говорил.

— Ну так я вам скажу, что он вчера удрал на весь день из школы и все время ловил на взморье крабов.

Бедная матушка посмотрела на меня с упреком и тревогой, приготавливаясь дальше услышать что-нибудь еще в этом роде.

— Ах, Ромен! — грустно произнесла она.

— Не слишком, однако же, браните его за это, — прервал ее г-н Бигорель, — потому что он не только ловил крабов, но он еще спас мне жизнь. Он у вас славный мальчик, храбрый и сметливый, вы можете им гордиться.

— Подойди сюда, дитя мое!

С этими словами он взял меня за руку и стал подробно рассказывать, как мы с ним встретились на берегу моря и заблудились в тумане.

— Вы видите теперь, что без него я бы совсем пропал! Утром я сердился на него, что он не знает моря и самых простых названий рыб и растений, но когда наступила опасность, мое научное знание моря ни к чему мне не послужило, и если бы вовремя не случилось со мной вашего сына, я теперь сделался бы уже добычей крабов и омаров, о которых он ничего не умел мне рассказать.

Таким образом, я в долгу у вашего сына, г-жа Кальбри, и хочу с ним поквитаться...

Матушка сделала отрицательный жест и хотела на это возразить.

— Успокойтесь, — продолжал он, не давая себе прервать, — я ничего не предложу ни вам, ни ему, что могло бы обидеть ваше достоинство и самолюбие. За его большую услугу деньгами нельзя уплатить: я много говорил с ним. Он от природы способный и любознательный ребенок, отдайте его мне. Я займусь его воспитанием. У меня нет детей, а между тем я их люблю. Ему будет у меня хорошо.

Мать поблагодарила его за это предложение и отказалась.

— Позвольте, позвольте, — сказал г-н Бигорель, — я вам скажу, почему вы не согласны. Вы страстно любите вашего сына. Вы любите его и за себя и за мужа, которого так рано отняло у вас море. Для вас он составляет в жизни все, и вы не хотите с ним расстаться ни на один день! Это все так, не правда ли? И, несмотря на это, я все же вам скажу, почему вам следует отдать его ко мне: для его пользы!

Бог дал ему хорошие способности, их следует развить, но здесь, в глуши, это невозможно. Платить за его учение в городе, мне думается, вам будет не по средствам. Прибавьте к этому, что у сына вашего характер независимый, и он имеет большое влечение к бродячей жизни, а это требует постоянного надзора.

Подумайте-ка обо всем этом и не давайте мне сейчас решительного ответа. Обсудите все спокойно, когда первые порывы вашего материнского чувства улягутся. Завтра вечером я снова приду к вам за ответом, и мы подробно обсудим все «за» и «против» моего предложения.

После его ухода мы сели ужинать. Я видел, что матушка не могла ничего есть. Она

подолгу смотрела на меня и, когда глаза наши встречались, она отворачивалась.

Когда я ложился спать и стал с ней прощаться, она долго целовала меня и слезы смочили мне все лицо. Мне стало так грустно, что я тоже расплакался; мысль о разлуке с ней показалась мне невыносимой.

— Не плачь, родная мамочка, — сказал я, прижимаясь к ее груди, — я никогда не расстанусь с тобой и ни к кому не пойду жить.

— Нет, дитя мое, это необходимо для твоей пользы, для твоего будущего. Г-н Бигорель совершенно прав: нам надо принять его предложение и расстаться на время.

И она еще раз крепко обняла меня.

— Мы будем часто видеться Ромен!

На другой день было решено, что я буду жить у г-на Бигореля, на его острове. Мама проводила меня со слезами до плотины, мы оба плакали. На душе у меня было тоскливо и жутко. Медленно подходя к своему будущему жилищу, я увидел г-на Бигореля на пороге дома, как только он увидел меня издали, сейчас же пошел ко мне навстречу.

Глава V

— Иди сюда, — сказал он, — иди сюда, Ромен! Скажи мне, дружок, писал ли ты когда-нибудь в твоей жизни письма? Нет, не писал, тем лучше. Ты сейчас напишешь своей маме письмо с извещением, что ты благополучно добрался до места, и что Суббота завтра пойдет в Пор-Дье за твоим бельем. По этому письму я увижу, что ты знаешь, и как умеешь писать и выражать свои мысли. Войди и сядь сюда.

Он ввел меня в большую залу, наполненную книгами, показал стол, где лежали перья, карандаши, чернила и бумага, и оставил меня одного.

Кроме того, что мне больше хотелось плакать, чем писать письмо, у меня заняло сердце от отрывистого и сурового обращения со мной г-на Бигореля, особенно после трогательного прощания с мамой. Но я не смел ослушаться, взял в руки перо, только решительно не знал, что писать.

Я испачкал лист бумаги слезами больше, чем чернилами, потому что дальше одной фразы: «Я пришел, и завтра Суббота придет за моим бельем», изобретательность моя не пошла.

Я чувствовал, что это слишком мало, но не был в состоянии ничего больше придумать. Уже целых четверть часа я сидел над этой лаконичной фразой, когда мое внимание привлек разговор в соседней комнате между г-ном Бигорелем и его слугой. Суббота говорил:

— Как бы то ни было, а мальчик все-таки пришел!

— Что ты думал, что он не придет?

— Я думал и думаю, что это должно изменить у нас все.

— Что это все?

— Вы, сударь, завтракаете в полдень, а я выпиваю свою «капельку» грога утром, что же мальчик будет дожидаться полудня, чтобы завтракать вместе с вами, или же он хлебнет утром со мной вместе?

— Что ты носишься со своей «капелькой», точно в этом все дело!

— Что же тут удивительного, что «я ношусь», мне никогда еще не приходилось заниматься вскармливанием ребятишек, а потому все в диковинку.

— Да ты сам был когда-нибудь ребенком или нет?

Вспомни хорошенько про это время и обращайся с мальчиком так, как и с тобой обращались.

— Ну, нет, оставьте, уж пусть лучше в вашем доме не будет ничего подобного. Со мной обращались так строго и сурово, что если вы захотите его так воспитывать, то гораздо лучше сейчас же вернуть его назад обратно к матери. Не забывайте, сударь, что вы кое чем ему

обязаны!

— Не забывай этого тоже и ты, а потому и поступай сообразно с этим.

— Тогда надо дать ему утром «стаканчик» горячего с сахаром!

— Ты лучше дай ему то, что сам любил в детстве, а еще лучше спроси его самого, как он хочет.

— Если вы поставите его на такую ногу, сударь, у нас все пойдет вверх дном!

— Суббота, знаешь ли ты, на что годны дети?

— Я знаю одно, что они ни на что путное не годны; а вот беспорядок наделать — это их дело все трогать, ломать и довести до белого каления всякого человека.

— Они годны и еще кое на что; они годны на то, чтобы продолжать нашу жизнь, когда она кончается, и сделать в жизни то, что мы сами не могли или же не успели сделать.

С этими словами г-н Бигорель быстро вошел в залу и обратился ко мне.

— Ты еще ничего не написал, Ромен, — сказал он, взглянув на бумагу. — Тем лучше, по крайней мере не придется ничего вырывать перед тем, как сеять, тем лучше... А теперь ты свободен, можешь идти гулять.

Остров, на котором я очутился у г-на Бигореля, а также и его дом отличались большой оригинальностью; ничего похожего я никогда не встречал впоследствии. Он назывался Пьер-Гант.

С берега остров представлялся в виде треугольника, который узким концом почти касался твердой земли и отделялся от нее только рукавом воды шириной не более 400 метров. Вся сторона, обращенная к берегу, была покрыта зеленой травой и кустарником, через который кое-где просвечивали верхушки гранитных серых камней. А другая часть, обращенная к морю, была обнажена, точно выжжена ветром и морской солью.

Дом был построен на самой вершине возвышенной части острова, на том месте, где уклоны соединяются и образуют маленькое плоскогорье. Из окон был чудный вид на море, на очень далекое пространство, а с другой стороны был виден весь берег и часть Пор-Дье. Ветер обдувал его со всех сторон, но ничего не мог с ним поделать, потому что дом этот был построен чрезвычайно прочно и давно, еще во времена министерства Шуазеля, тогда он предназначался для береговой обороны. Наружные его стены были толщиной в несколько футов, а крышу невозможно было пробить никакими бомбами.

Когда г-н Бигорель купил эту маленькую старинную крепость, он окружил ее галереей, и она приняла более веселый и живой вид. Внутри он приспособил ее для жилого дома с помощью перегородок и дверей. От этих перемен жилище не стало ни удобнее, ни изящнее, но зато оно не утратило и своего основного качества — солидности и крепости, и также мало страдало от бурь и непогоды, как та гранитная скала, с которой оно, казалось, составляло одно целое...

Эти беспрерывные ветры, враги, против которых приходилось постоянно бороться, были в то же время и полезны для острова. Не будь их, зима была бы много суровее, а теперь климат оставался умеренным и даже теплым в местах, защищенных скалами. Тут встречались растения и кустарники совсем южных пород, например лавры, фуксии, фиговые пальмы.

Большая часть этих растений процветала благодаря природным свойствам острова, но некоторые были обязаны заботам Субботы и его хозяина; трудами рук своих они превратили дикий островок в сплошной сад. Только с западной стороны, благодаря постоянному ветру и морскому прибою, почва оставалась невозделанной; здесь росла одна трава, на которой паслись две коровы, принадлежавшая г-ну Бигорелю, и несколько его же черных овец.

Трудно было поверить, что г-н Бигорель и Суббота, только вдвоем, могли развести сад и огород, и довели свой остров до такого цветущего состояния. В нашей деревне поговаривали сначала, что г-н Бигорель скуп, жалеет денег, а потому все делает сам, а не нанимает рабочих, но потом убедились, что дело было совсем не в деньгах, а в убеждениях. Г-н Бигорель постоянно говорил, что человек все должен делать для себя сам, и подтверждал эти слова примером. Деньги он давал охотно тем, кто в них нуждался, потому что трудно

было встретить другого такого истинно доброго человека.

У него были свои фрукты, свои овощи, свое молоко и даже свой хлеб. Рыбу и живность они ловили или стреляли тоже сами. Даже зерна мололи на маленькой ветряной мельнице, которую смастерил сам г-н Бигорель с помощью того же Субботы. Остров был достаточно велик и возделан, чтобы можно было посеять и хлеб и картофель, которого им хватало на всю зиму.

Правду говоря, без такого помощника, как Суббота, вряд ли бы один г-н Бигорель мог столько сделать.

Одному г-ну Бигорелю было бы не справиться, а Суббота брал на себя всю черную и тяжелую работу. Он был мастер на все руки; ему в жизни приходилось быть и матросом на корабле, и денщиком у какого-то офицера морской службы, и корабельным поваром, и пахарем в родной деревне — таким образом, он понемногу знал все работы, необходимые в домашнем обиходе. Господина своего он любил и уважал безгранично. В отношениях друг к другу они не были слугой и хозяином, а скорее жили как два добрых товарища: обедали за одним столом, за которым, впрочем, г-н Бигорель занимал председательское место. В таком образе жизни было много благородной простоты, которая тогда меня не удивляла, потому что я разделял эту жизнь с ним вместе, и только теперь, когда я пожил на свете и узнал людей, я могу оценить ее вполне, а потому доселе вспоминаю о ней с восторгом.

— Слушай, Ромен, сказал мне г-н Бигорель в первый же день моего прихода, — слушай внимательно то, что я тебе скажу: я совсем не хочу сделать из тебя «барина», то есть адвоката, доктора или нотариуса, нет, я хочу, чтобы из тебя вышел прежде всего хороший и честный человек, а может быть впоследствии и хороший моряк. Есть много способов научиться уму-разуму без учебы, можно многое узнать и без школы и книжек, хотя и они могут быть очень полезны в будущем, а пока попробуем кое-чему научиться без них.

Я не сразу понял слова г-на Б и горел я. Мне показалось невероятным, что учиться можно играя, потому что в нашей деревенской школе я ничего подобного не видал и не слышал. Но я еще больше удивился, когда на другой день он сказал мне:

— Ну, пойдем учиться! — И повел меня с собой сначала на морской берег, а затем в дубовую рощу.

— Что это такое? — спросил он меня, показывая на муравьев, которые торопливо перебирались на другую сторону дороги.

— Муравьи, — отвечал я с недоумением.

— Да, но что же они делают?

— Они несут друг друга.

— Хорошо, ты пойдешь за ними до самого муравейника, помотришь хорошенько, что там делается, и расскажешь мне об этом. Если ты не увидишь на первый раз ничего такого, что могло бы тебя удивить, ты завтра приходи снова и посмотри еще. Наблюдай жизнь этих маленьких насекомых до тех пор, пока не увидишь чего-нибудь особенного или интересного, тогда приходи рассказать мне.

Я два дня наблюдал муравейник и заметил, что некоторые муравьи решительно ничего не делали, тогда как другие работали без отдыха все время и, кроме того, еще добывали пищу для первых.

Я сказал об этом г-ну Бигорелю.

— Ты заметил главное, — ответил он, — этого пока довольно — поговорим. Эти муравьи, которые ничего не делают, они не больные и не старые, как ты, может быть, думаешь, нет — они господа тех, которые на них работают и находятся у них в рабстве. Без помощи этих рабов они не были бы в состоянии добывать себе пищу. Тебя это удивляет! Разве не то же самое происходит у людей?

Есть страны, где люди буквально ничего не делают и кормятся трудами рук своих работников или рабов, которые все время трудятся. Если бы этот порядок вещей объяснялся слабостью и немощью одних и силой и здоровьем других, тогда это было бы вполне естественно и понятно, люди должны помогать друг другу. Но на самом деле это совсем

происходит не от того.

Господа у муравьев, именно сильнее и здоровее, чем работники, зато на войне они и добывают себе рабов. Мы вернемся как-нибудь вместе посмотреть на этих муравьев, когда у них будет война, и ты сам увидишь, что я говорю правду. В ожидании, пока ты будешь свидетелем муравьиной бойни, я дам тебе книгу ученого Гюбера с описанием одной из этих муравьиных битв. В то время, когда ученый описывал эти любопытные сражения, за 500 лье от наших мест происходила резня гораздо более ужасная, потому что истребляли друг друга люди.

Не знаю, была ли у них причина для войны более серьезная, чем у муравьев, но крови было пролито много, и если я сам остался жив в этой бойне, то только благодаря счастливой случайности.

Вот как было дело: мы шли по левому берегу реки Эльбы; на правом берегу русские воздвигли страшные батареи своей артиллерии. Несмотря на то, что мы шли под горой, поросшей наверху кустарником, их ядра беспрерывно опустошали наши ряды. В этот день, который всякую минуту мог быть для меня последним днем в жизни, я вдруг вспомнил, что сегодня день рождения моей жены. Мысленно я улетел далеко от настоящей ужасной минуты и думал, какое бы это было счастье, если бы я мог каким-нибудь чудом перенестись на родину, домой.

В это время мы переходили через ложбинку, по краям которой я увидел массу незабудок в полном цвету. Под наплывом воспоминаний я нагнулся, чтобы нарвать букетик и отдать его жене, если Бог приведет вернуться домой.

Надо тебе сказать, Ромен, что сражения происходят совсем не так, как об этом пишут в книгах. Там все описывается по порядку и люди двигаются точно машины. Мы же на самом деле шли врассыпную, а это давало моим товарищам и мне полную свободу движений.

Итак я наклонился, чтобы нарвать прелестных голубых цветочков, в это самое время над моей наклоненной к траве головой пронесся, точно вихрь, затем раздался оглушительный орудийный залп, треск, точно что разорвалось, и мне в спину полетели комья земли, песку и оторванных веток. Заряд, который пронесся над моей головой, скосил всех моих товарищей, они полегли вокруг меня, как снопы. Я один уцелел. Меня спас букет из незабудок, или, вернее, мысль о родной семье, о жене, для которой мне так захотелось нарвать цветов.

Рассказы г-на Бигорея производили сильное впечатление на мою душу. Мне хотелось его слушать еще и еще. После рассказанного им эпизода из истории Фридландского сражения я с удвоенным интересом принялся за книгу Гюбера «об муравьиных войнах».

Гюбер был слепой. Он глядел на мир Божий глазами своего верного и умного слуги. Гюбер слушал его рассказы о природе, а потом диктовал ему описание жизни пчел и муравьев. Если бы г-н Бигорель заставил меня прочитать эту книгу другим способом, мне бы, верно, это чтение показалось скучным. Но он предварительно пробудил у меня интерес к ней, дал мне ее читать как бы в награду за то внимание, с каким я слушал его рассказ, а потому она осталась у меня в памяти на всю жизнь, точно я прочитал ее только вчера, хотя много лет прошло с тех пор, как я получил эту книгу от г-на Бигорея.

Восторгу моему не было пределов, когда г-н Бигорель дал мне читать Робинзона. Он сам высоко ставил эту книгу, и даже жизнь свою устроил на своем острове по образцу Робинзона. Под его влиянием он назвал и слугу своего «Субботой» в отличие от робинзоновского «Пятницы», и пустынный островок они вдвоем превратили в благоустроенный сад, как в романе Дефо.

— Из этой книги, Ромен, — говорил он мне, — ты узнаешь, что может сделать один человек трудами рук своих, если он захочет прилежно и неустанно работать. Ты увидишь, что силой воли и упорным трудом он может на своем опыте повторить все, до чего люди додумывались долгими годами.

Но только при этом человек не должен возгордиться успехами своей работы, нет, всякую минуту он должен помнить, что над ним есть Бог, и что без Его воли ничто не

делается на земле, что благое Провидение посылает человеку все испытания и случайности, а также дает ему силы переносить их, если человек только захочет работать и бороться с ними; только в этом случае он и может победить все трудности. Если же ты понимаешь теперь не все из того, что я говорю тебе, то пойми эту главную мысль книги о приключениях «Робинзона Крузо», а затем тебе остается то удовольствие, которое эта книга доставляет и большим и маленьким читателям.

Не знаю, есть ли на свете дети, которые могут читать Робинзона хладнокровно! Что же касается до меня, то я зачитывался им без конца. Я теперь только и мечтал о необитаемом острове, о кораблекрушении и о дикарях...

Конечно, я совсем не думал о философской стороне этой книги, на которую с таким жаром наталкивал меня г-н Бигорель. Меня занимала исключительно романическая сторона приключений героя Дефо.

Мой индейский дядя Жан с серебряной рукой имел теперь достойного соперника в лице Робинзона. Эта книга давала полную поддержку моим мечтам сделаться моряком по примеру покойного отца и других членов семьи Кальбри.

Отчего не может со мной случиться того же самого, что случилось с Робинзоном, говорил я себе, и окончательно укрепился в мысли сделаться моряком во чтобы то ни стало, хотя бы это и было против желания матушки.

Грудным младенцам всегда кажется, что стоит только протянуть руку и можно схватить с неба луну! Так же легко казалось и мне осуществление всех моих мечтаний.

Суббота, видя, как я захлебывался от восторга, читая Робинзона, попросил меня почитать ему вслух эту книгу. При всех своих разнообразных талантах Суббота не знал грамоты и относился с особым почтением к книгам и ко всему печатному вообще.

— Ты лучше расскажи ему, Ромен, приключения Робинзона, — заметил на это г-н Бигорель. Но Суббота предпочитал чтение по книге.

Сам он целых десять лет скитался по белому свету, где только не побывал, жил долго в Африке, и мог много рассказывать про то, что видел на своем веку. Таким образом, мы с ним обменивались впечатлениями: я читал ему вслух, а он за это много рассказывал мне интересного про свою прошлую скитальческую жизнь. Иногда я начинал тоже рассказывать ему разные чудеса из прочитанного в книгах, например, о том, что в Африке львы подплывают тихонько к кораблям и набрасываются на путешественников.

— Ну это, положим, выдумки, — авторитетно заявлял Суббота, — я сам был в Африке и знаю, что этого не бывает.

— Но это написано, — отвечал я, задетый за живое его недоверием.

— Уверен ли ты, Ромен, в том, что это написано?

Тогда я брал книгу и начинал читать спорное место.

Суббота почесывал тогда затылок и отвечал с видом полной покорности и слепой веры во все, что написано.

— Да, да, конечно, если это написано — тогда ты прав, я тебе верю. Но все-таки странно, я жил на берегах Африки и никогда не видал, чтобы львы вплавь напали на корабли...

Суббота побывал не только на юге, но он много плавал у берегов северного моря. Я особенно любил слушать его рассказы о зимовках среди льдов или же на берегу в юртах.

— Один раз мы прожили под снегом целых шесть месяцев, — рассказывал он. — Вот-то натерпелись и холоду и голоду и всякой муки. Почти половина экипажа погибла. Собаки и те начинали околевать, и не столько от холода и от голодовки, сколько от недостатка света!

У нас не хватало масла, чтобы постоянно поддерживать огонь, а то они бы пожили еще!

Рассказы эти нравились мне почти так же, как и приключения Робинзона. Иногда, впрочем, и на меня находило сомнение в том, что это действительно было так, и тогда, чтобы разрешить их, я спрашивал Субботу.

— Ведь это не написано?

Суббота с горечью сознавался, что «это не написано». Но что он сам это видел, своими

собственными глазами.

— А все-таки это не написано! — возражал я к великому его огорчению. Рассказы его еще больше разжигали во мне врожденную страсть к морю. Я не мог удержаться, чтобы при свидании с матерью не поделиться с ней моими новыми впечатлениями.

Матушка совсем не разделяла моих восторгов, наоборот, она с глубокой грустью слушала подобные разговоры и наконец решила даже поговорить обо мне с г-ном Бигорелем.

— Вам не удастся никогда переделать натуру Вашего сына, — сказал он в ответ на ее тревогу и опасения за мое будущее, — он из породы тех людей, которые гоняются за всем чудесным и не ходят протоптанной дорогой.

Согласен с вами, что такие люди редко бывают счастливы, но зато они при случае бывают способны и на геройские поступки! Все зависит от того, как сложится дальнейшая жизнь вашего сына.

— Вот в этом-то все мое несчастье, что его тянет куда-то вдаль, и что он ищет чего-то необыкновенного, а это его отнимет у меня рано или поздно.

— Не огорчайтесь, — утешал ее г-н Бигорель, — иногда такие характеры делают много хорошего на свете!

Но матушку мало успокаивали такие речи, — она видела одно, что ей предстоит в будущем разлука со мной, что она может так же легко потерять в море сына, как она потеряла мужа, и это приводило ее в отчаяние.

Я же, со свойственным детям эгоизмом, совсем не думал об этом и даже не останавливался мыслью на том, что я ей постоянно отравляю жизнь мыслью о моем будущем.

Я был бы совершенно счастлив и доволен своей жизнью у г-на Бигореля, потому что — разлуку с матерью переносил легко, да и виделись мы часто, — только одно маленькое обстоятельство нарушало мое полное благополучие.

Г-н Бигорель особенно интересовался жизнью птиц. Он серьезно уверял нас, что у птиц есть свой особый язык, только люди не обращают на это должного внимания. Он даже составил словарь странных звуков, напоминающих птичье чириканье, и непременно хотел, чтобы я выучил этот словарь и вместе с ним записывал отдельные звуки, а потом подбирал бы к ним слова. Меня нисколько это не занимало; я считал занятия словарем скучным вздором, и Суббота втихомолку мне в этом сочувствовал.

Из-за этого птичьего языка у меня происходили неприятные столкновения с моим добрым учителем. Он всякий раз сердился на меня «за мое невежество и тупость», как он называл мою неохоту изучать птичий язык, а я, со своей стороны, начинал плакать, как только дело доходило до «словаря», и уроки наши не подвигались вперед ни на шаг.

Я положительно не мог допустить мысли, чтобы чириканье птиц имело какой-либо смысл. Но теперь я очень сожалею, что запомнил всего несколько звуков, потому что словарь этот был нечто необычайно любопытное и оригинальное.

— Послушай, Ромен, — начинал г-н Бигорель, пытаясь меня убедить. — Мы же чувствуем и понимаем музыку, которая написана без слов, отчего тогда не допустить, что птицы не понимают и нас и друг друга. Отчего собаки и лошади отлично понимают нашу речь!

Я ничего не мог ему возразить, но птичий словарь ненавидел от всей души.

— Мать твоя боится, что ты сделаешься моряком, и она по-своему права. Служба эта мне тоже не нравится во многих отношениях. В юности человека манит даль и неизвестность, а потому он и набрасывается на нее с восторгом — это ничего ровно не доказывает. Большинство моряков скоро разочаровываются и с отвращением заканчивают морскую службу в сорок лет. В жизни моряка есть много и грубого и бессмысленного. Что за радость тянуть ляжку простого матроса — чернорабочего, единственным развлечением которого служит пьянство в трактирах от Рио-Жанейро до Гавра и на всех больших стоянках. Мать твоя говорит правду, хорошего в подобной жизни мало, а опасностей всякого рода сколько угодно. Другое дело, если бы из тебя вышел ученый путешественник и натуралист!

Как, например, Андре Мишо. Это была завидная доля, Ромен. Или как Зибомд, голландский доктор, который составил описание Японии. Я бы именно подготовил тебя к такого рода путешествиям по морю, для того чтобы ты посетил неизвестные страны с научной целью, с пользой для себя и для других. И ты бы также мог оставить описание этих стран, растений, животных, птиц и всего населения. Таким путем ты мог бы послужить с честью родной науке и человечеству вообще. Для этого стоит идти в моряки и подвергаться всем невзгодам и опасностям на воде, и даже не так тяжело будет на время разлучиться с родиной и с матерью! Для такого рода будущности я постараюсь подготовить тебя, как умею. Тебе необходимо будет знание природы и даже язык птиц, которому ты упорно отказываешься учиться, а между тем эти знания тебе очень пригодятся в будущем. На это последнее замечание я отрицательно покачивал головой.

— Какая прекрасная и полезная жизнь тебя ожидает в будущем, если мечты мои относительно тебя осуществляются, — с жаром говорил этот добрейший человек.

Увы, они оказались, как и все почти наши мечты, несбыточными... Не знаю, удалось ли бы г-ну Бигорелю сделать из меня ученого путешественника и натуралиста, как это рисовалось его благородному и возвышенному уму, но уроки наши и все занятия неожиданно прекратились, и в тот именно период, когда я уже начинал кое-что понимать и запоминать. Прекратились они вследствие одного рокового события, которое перевернуло всю нашу мирную жизнь на острове вверх дном.

Большей частью мы ходили на прогулки вместе с г-ном Бигорелем: он рассказывал — я слушал; или же, наоборот, он по-своему экзаменовал меня.

Случалось иногда, что он и один отправлялся на дальнюю прогулку в море, а именно к Грюнским Островам.

Ехал он тогда в шляпке, а острова эти считались самыми дальними от нас, приблизительно в трех лье от Пор-Дье. Там на свободе он изучал свой любимый язык птиц.

Однажды он уехал туда рано утром и не вернулся к обеду. Мы немного удивились, но Суббота объяснял это тем, что наверно он опоздал, и ждет вечернего прилива, чтобы вернуться вместе с ним. Погода стояла тихая, море спокойное, а потому и мы не тревожились. Однако и вечером после прилива г-н Бигорель не вернулся домой. Суббота начал тогда беспокоиться не меньше меня, хотя и делал вид, что ничего не видит в этом опасного. Однако вместо того, чтобы идти спать вместе со мной, он услал меня одного, а сам развел большой костер на самой возвышенной части острова и остался сидеть у костра всю ночь. Мне тоже не спалось, сердце ныло от предчувствия беды, наконец, я заснул тревожным чутким сном.

Чуть показался свет, я уже вскочил на ноги и побежал посмотреть, что делает Суббота, и не вернулся ли домой г-н Бигорель? Увы, Суббота один ходил большими шагами у костра с самым мрачным видом и подбрасывал в него сухие ветки, чтобы яркое пламя не уменьшалось. Вокруг нас была предрассветная тишина. С берега доносился обычный плеск волн, иногда только птицы налетали с шумом на огонь и, подпалив крылья падали в траву. Мы обменялись с Субботой печальным взглядом. Я не мог удержаться от слез.

— Подожди плакать, Ромен, я возьму лодку дяди Гассома и поеду на Грюнские Острова. Не заболел ли он там? Может быть, к обеду вернемся вместе! — Ничего невозможного в этом не было, и я немного ожил от этой надежды.

Начинало светать; Суббота ушел за лодкой, а я остался ждать.

К обеду он вернулся, но один, никаких следов г-на Бигореля он нигде не нашел, хотя исследовал остров во всех направлениях. Скоро весть об исчезновении доброго г-на Воскресенья разнеслась по всему округу. Жители Пор-Дье заволновались, все любили и жалели доброго чудака. Было необъяснимо одно — куда он мог пропасть!

— Наверно, он пошел ко дну, во время прилива перевернуло шляпку, — говорили одни.

Но тогда возникал вопрос, куда же она-то делась, если старик утонул.

— Может быть, водяные водовороты ее завертели и течением отнесли в открытое

море, — догадывались другие.

Один Суббота мрачно молчал, но весь день оставался на взморье. Неутомимо осматривал все прибрежные камни и все углубления в утесах. Где мы только с ним не побывали! Иногда уходили за пять лье от Пьер-Ганта, но все наши поиски оказались напрасными, мы не находили никаких следов.

Если нам встречались рыбаки, Суббота всегда спрашивал с тревогой.

— Ну что, ничего нет нового?

И всегда получал отрицательный ответ. Когда же он видел при этом, что глаза мои наполнялись слезами, он всякий раз ласково трепал меня по щеке и растроганным голосом, в котором дрожали слезы, говорил мне.

— Ты добрый мальчик, Ромен, да, ты хороший паренек, у тебя благородное сердце.

Недели две спустя после необъяснимого исчезновения г-на Бигореля, из Нижней Нормандии приехал его внучатый племянник и единственный родственник. Звали его г-н Де-Лаперуз.

Он подробно расспросил нас о том, как все случилось, потом нанял человек двадцать опытных моряков с тем чтобы они объехали все соседние берега.

Поиски продолжались целых три дня, но не привели ни к чему.

Было решено, что г-н Бигорель утонул, а шлюпку его унесло течением Бог весть куда. Один Суббота не верил этому и всякий раз отрицательно покачивал головой. Один он все еще продолжал надеяться, но, кажется, напрасно...

— Может, он совсем и не погиб? Лодку могло отнести течением, но это не значит еще, что она перевернулась. Может быть, он высадился у берегов Англии и нынче или завтра вернется домой! — кричал он запальчиво тем, кто уверял, что его старый господин наверно утонул.

На него было жаль смотреть, в таком он был отчаянии, и потому почти никто с ним не спорил.

Когда поиски были окончены, г-н Лаперуз позвал нас с Субботой к себе и объявил, что мы ему решительно ни на что не нужны, а потому можем уходить сейчас же на все четыре стороны.

Далее, что он намерен дом заколотить наглухо, а скот и овощи продать, а сам он уезжает немедленно к себе домой в Нижнюю Нормандию. Все это было сказано так сухо, почти враждебно, что Суббота возмутился до глубины души. Точно мы были не друзья г-на Бигореля, с которыми он делился каждой мыслью и каждым куском хлеба, а какие-то не то наемные слуги, не то приживальщики. Суббота ничего не ответил на все эти распоряжения, а только, обратясь ко мне, отрывисто сказал:

— Собери свои пожитки, Ромен, мы и сами не останемся здесь ни одной минуты более. Без г-на Бигореля нам тут делать нечего.

Сборы наши были недолгие. Мы взяли узлы со своими вещами и за руку вышли из дома, хотя слезы катились у меня градом и на сердце было невыразимо тяжело.

Когда мы подошли к перешейку, отделяющему остров от нашего берега, навстречу нам попался новый владелец Пьер-Ганта. Суббота не удержался, подошел прямо к нему и сказал резким тоном:

— Сударь, знайте раз и навсегда, что хоть по бумагам вы и числитесь племянником и даже наследником моего господина, но у вас с ним ничего нет общего, ровно ничего, поэтому я вас и не признаю за его родню.

Глава VI

Решено было, что Суббота поживет у нас в Пор-Дье еще около трех недель. За это время он ни на один час не успокаивался. Очевидно, мысль найти г-на Бигореля живого или

мертвого крепко засела у него в голове.

Всякое утро он ходил на морской берег и продолжал свои поиски во всех направлениях. Потом, когда все его усилия не привели ни к чему, он объявил нам, что уезжает на английские острова, а может быть и дальше...

— Потому что, видите ли, — сказал он нам на прощание, — море ничего не оставляет у себя, а на этот раз оно, может быть, ничего и не взяло от нас.

Мы тогда хорошенько не поняли, что он хотел сказать этими словами, но от всей души сочувствовали его горю, которое и для меня являлось не меньшим, если не большим ударом, чем для него.

Суббота не любил много разговаривать. Он ласково простился со мной и с матушкой.

— Ты добрый человек, Ромен, — сказал он, — прошу тебя, время от времени не забывай пойти на остров, там осталась черная корова, снеси ей пучок травы и горсточку соли. Она ведь и тебя любила не меньше, чем нас.

С отъездом Субботы порвались последние нити, связывавшие меня с привольной и счастливой жизнью на Пьер-Ганте.

«В семье не без урода», — говорит народная поговорка. Она вполне оправдалась и на нашей семье. У меня был еще один дядя, который «терпеть не мог моря», и во всем остальном он так же мало походил на нас, как и в этом. Можно было держать пари, что в его жилах не текло ни одной капли крови Кальбри!..

Он жил в десяти лье от нашей деревни, в городке Доле, где занимал различные должности одна прибыльнее другой: судебного пристава, ростовщика и частного стряпчего. У него была там контора, в которой совершались всякие сделки. Не даром же он слыл за богача.

В то время, о котором идет речь, дядя Симон из Доля оставался ближайшим нашим родственником со стороны отца, и матушка, озабоченная вопросом моего будущего, решила обратиться к нему за советом, что ей дальше со мной делать.

Через месяц после отправки нашего письма дядя сам приехал в Пор-Дье.

— Я не ответил на ваше письмо, — начал он с места, — потому что имел намерение приехать лично, и в таком случае нечего было тратить деньги на марки и давать наживать почте. Деньги достаются нелегко, а потому транжирить их не приходится, милая невестушка! По той же причине я до сих пор и сам не ехал — ожидал okazji. Меня к вам довез за двенадцать су торговец соленой рыбой!

Из этих слов легко можно было понять, как дядя Симон любил деньги и как трудно он с ними расставался.

В этом я очень скоро убедился на собственном опыте.

Когда матушка рассказала ему о положении наших дел и о внезапности исчезновения г-на Бигореля, дядя сочувственно покачал головой!

— Из всего, что вы мне рассказали, невестушка, я вижу, что вы ни за что не хотите отпускать этого молодца в море, и вы правы, быть моряком собачье ремесло! Тут ничего нельзя заработать! Останешься век свой бедняком, каким был мой брат, а ваш покойный муж, — это одно, а другое, вы бы хотели, чтобы мальчик окончил ученье, начатое у старика «Воскресенье». Надеюсь, в этом случае вы на меня не рассчитывали! Я сам человек бедный: еле концы с концами свожу!

— Я не намерена была просить у вас денег, — с застенчивой гордостью отвечала мать.

— Денег! Но у меня их нет, повторяю вам! Рассказывают про меня, будто я богат, ведь это чистейшие выдумки; на самом деле я весь в долгу, как в шелку, потому что принужден был купить землю, которая меня разоряет.

— Наш священник говорил мне, — прервала его матушка, — что за долгую службу отца и, особенно, в награду за его геройскую смерть Ромен мог бы обучаться в коллегии бесплатно, за счет государства, надо только похлопотать, подать просьбу...

— Все это так, положим, священник говорит справедливо, но кто же возьмет на себя все хлопоты, а их будет немало. Сами вы не можете, а на меня не рассчитывайте, сразу вам

говорю. Я ни за что не возьмусь хлопотать. Во-первых, у меня нет для этого достаточно свободного времени, а во-вторых, я решаюсь беспокоить влиятельных людей только по своим личным делам, да и то в исключительных случаях.

А то хлопочи за родных, а потом представится в сильных людях нужда для самого себя — тебе и ответят отказом. Нет, нет, я на это ни за что не пойду! Вот братья Леге должны бы были прежде всех озаботиться судьбою мальчика. Они должны платить за его ученье, помните их обещания?

— Они никогда об этом не заговаривают сами, а я просить таких людей ни о чем не хочу, — ответила мать.

— Ну, напрасно, тогда я пойду с ними объясниться хорошенько, посмотрю, удастся ли им от меня дешево отделаться!

Мать хотела возражать, но дядя Симон перебил ее.

— Нечего с ними церемониться. Просить о том, на что имеешь полное право, совсем не стыдно. Скорее, им должно быть совестно, а не вам. Поймите это, и не будьте так щепетильны.

Понятно, что матери моей тяжело было обращаться с просьбой к братьям Леге, против этого возмущалась вся ее гордость, но дядя Симон был не такой человек, которому можно было противоречить.

— Поймите, — говорил он ей внушительно, — что если вы обратились ко мне за советом, то и должны меня слушаться. Я не даром сюда прокатился из Доля, не даром бросил для вас все свои дела на целый день, за эту жертву самое меньшее, что вы можете сделать, это исполнять все то, что я нахожу полезным для моего племянника.

— А ты, Ромен, ступай сейчас же в контору братьев Леге и посмотри, там ли они оба? Если они оба налицо, тогда мы их и накроем. Это ловкие люди, и мне хорошо известен их обычай: если говорить с каждым порознь, то один будет сваливать на другого, и тогда от них не добиться толку во веки веков.

Оба брата сидели в конторе, а потому мы вошли.

Когда я вспоминаю, при какой возмутительной сцене мне пришлось присутствовать, то и теперь, через много лет, краска обиды заливает лицо: поэтому можете вообразить, как тяжело и стыдно мне было тогда.

Насколько права была мать, когда отказывалась обращаться за помощью к этим людям с каменным сердцем. Они сделали удивленный вид при виде нас и стали вертеться на стульях, точно на горячих углях.

— Все знают, что вы обещали позаботиться о сыне моего брата, а потому вы и должны платить за его учение, — начал дядя.

При этих словах оба брата подскочили, как ужаленные.

— Мы — платить за его учение? — закричал старший.

— За его учение! — повторил точно эхо младший.

— Мы братья Леге, — закричали оба в один голос.

— Вы обещали сделать не только это, но вы еще обещали его усыновить, — продолжал дядя, — все это слышали.

— Усыновить — мы! — воскликнул младший.

— Мы — усыновить его! — повторил эхом старший.

— Нам — усыновить, — снова завопили оба вместе. Тут началась между ними и дядей отвратительная перебранка. Один кричал, другой вопил, но и дядя не уступал, осыпая их всевозможными упреками и колкостями.

— Мы и так делаем больше, чем обещали, мы даем работу его вдове. Да, мы даем. У нее, благодаря нам, обеспечено 8 дней работы в месяц, а это не шутка!

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха, — язвительно рассмеялся дядя. — Эка невидаль, подумаешь: Вот так благодетель! Можно подумать, что вы даром даете ей деньги! Вы первые люди, каких я встречаю на своем веку, чтобы так с этим носиться! «Вы даете, вы даете!» Вас послушаешь,

так можно подумать, что вы даете ей все свое состояние. Вы даете человеку работу, и за ваши десять су и обед он работает на вас, на разгибая спины, весь день. Разве вы платите ей больше, чем первой встречной работнице?

— Мы платим ей чистыми денежками, — ответил меньший Леге с гордостью, — мы расположены оба, да мы имеем это намерение, и вперед также охотно платить ей наличными деньгами!

— Когда же вы кричите, что Кальбри погиб, спасая наше имущество, то это сущие выдумки и заведомая ложь. Он пошел на верную смерть, чтобы спасти людей, таких же матросов, как он сам. А это, понимаете, вовсе не наше дело, это дело правительства, это нас не касается. Вольно же людям геройствовать! Правительство обязано раздавать им медали и обеспечивать их семьи. Но так и быть. Когда мальчишка вырастет и научится работать, пусть он приходит к нам, мы дадим ему работу. Не так ли, Жером?

— Да, конечно, мы дадим ему возможность работать сколько угодно, — повторил старший.

Больше этого обещания не удалось от них ровно ничего добиться.

— Вот это люди! — сказал дядя, когда мы вышли из конторы. — Вот так люди, это настоящие люди!

Я думал, что он разразится против них справедливым гневом, но, к удивлению своему, совершенно ошибся.

— Умнейшие люди, удивительнейшие люди, и с твердым характером! Эти люди умеют говорить «нет». Пусть же они послужат тебе примером, Ромен! Хорошенько запомни это слово «нет». Только при помощи твердого «нет» и можно нажать себе копейку.

Я в себя не мог придти от этих похвал. Дядя Симон показался мне в эту минуту еще противнее братьев Леге.

Мы шли молча до самого дома, погруженные каждый в свои мысли. Придя домой, дядя заявил моей матери, что от Леге он ничего не мог добиться, но что мне во всяком случае пора перестать бить баклуши. Поэтому он решил взять меня к себе в дом. Ему нужен помощник-писец. Конечно, я был слишком мал, чтобы хорошо выполнять обязанность писца, и если еще не заслужу работой того, что будет стоить мое содержание, т. е. пища и одежда, в течение первых лет (дядюшка рассчитывал взять меня в ученье на 5 лет бесплатно), то я наверстаю это в будущем.

— Кроме того, все же Ромен мне не чужой, а племянник, а я для родных всегда готов сделать все, что могу.

Матушка была поражена таким быстрым и неожиданным поворотом дела. Совсем не об этом мечтала она для меня! Но мысль, что предложение дяди помешает мне идти в моряки, а в будущем все же даст кусок хлеба, заставила ее согласиться на это неожиданное предложение, заставило ее согласиться, хотя и с тяжелым сердцем, на разлуку со мной.

Дядя живо составил письменное условие, дал ей подписать его, и в этот же день мы должны были уехать в Долю. Я обливался слезами, прощаясь с матерью, а она плакала еще сильнее моего.

Дядя ворчал и нетерпеливо покрикивал на нас обоих.

— Что за нежности! Мальчишку давно пора посадить за дело! Он довольно болтался и у матери, и у этого сумасшедшего старика Бигореля!

Доля сам по себе хорошенький городок, очень живописно расположенный, но на меня он произвел самое безотрадное и мрачное впечатление.

Мы приехали поздно вечером, под холодным, пронизывающим насквозь, дождем. Часть дороги нас вез тот же торговец соленой рыбой, который привез дядю к нам, но ему надо было раньше свернуть в сторону от Доля; мы принуждены были сойти с телеги и пройти целых шесть лье по отвратительной грязной дороге, размытой дождем. Дядя шел быстро, а я едва поспевал за ним...

Сердце у меня ныло от разлуки с матерью, от страха перед дядей и перед тем неизвестным будущим, которое ожидало меня впереди. Начало не обещало ничего доброго:

мне страшно хотелось есть, дядя в течение всего злополучного дня и не подумал остановиться пообедать, а я не смел сам ему об этом напомнить.

Наконец перед нами замелькали городские огни, и мы повернули в какую то пустынную улицу. Дядя остановился перед высоким домом, подъезд которого выступал вперед и держался на высоких столбах.

Он вынул ключ из кармана и отпер замок. Я подвинулся вперед, чтобы войти, но он меня отстранил, потому что отпирание дверей не было еще окончено. Он вытащил второй ключ, потом и третий, самый большой. Двери заскрипели на железных петлях со зловещим шумом, точно двери тюрьмы.

За этими тремя замками мне теперь придется жить, с ужасом подумал я. У нас в доме дверь закрывалась обычно щеколдой, подвязанной веревочкой, у г-на Бигореля была маленькая задвижка, которую не запирали даже на ночь. Почему же это дядюшка так запирается, верно, у него много денег, подумал я.

Дядя снова закрыл за собой двери и запер их тремя замками, потом взял меня за руку и повел. Мы двигались в полной темноте через какие-то комнаты, страшно длинные, и звуки наших шагов отдавались глухо по каменному полу, точно в пустой церкви. Запах сырости и старой заплесневевшей бумаги ударил мне в голову.

Когда дядя зажег, наконец, свечу, то я увидел, что мы очутились в большой комнате, заваленной всяким хламом: старыми стульями из черного дерева, шкафами, буфетами с посудой и всякой мелочью. Точно мы попали в лавку старьевщика. Но это, как оказалось, была кухня. Несмотря на эту странную обстановку, я был страшно рад тому, что мы пришли на место и могли согреться и поесть.

— Хотите, дядя, я развею огонь? — спросил я.

— Огонь! — с испугом в голосе воскликнул он, точно предложение мое показалось ему чем-то чудовищным. — С какой это стати?

После такого ответа я уже не осмеливался сказать ему, что я промок до костей, и что зубы стучали у меня от холода.

— Мы и без огня поужинаем и ляжем спать! — прибавил он.

С этими словами он повернулся к шкафу, вынул из него краюшку хлеба, отрезал два ломтя, положил на каждый по куску сыра, один дал мне, а другой положил на стол и тотчас же запер шкаф на ключ.

Я не знаю, какое чувство испытывает пленник, когда за ним захлопывается дверь его тюрьмы, но я думаю, что большой разницы не было между его ощущениями и моими в ту минуту, когда я услышал, как щелкнул замок запираемого шкафа с провизией.

Было очевидно донельзя, что второго куса просить нельзя, а между тем я хотел бы съесть еще, по крайней мере, пять или шесть таких ломтей, как тот единственный, которым наградил меня дядя за голодовку целого дня.

В ту же минуту три тощие кошки прибежали откуда-то на кухню и стали тереться об наши ноги.

«Если он отопрет шкаф, чтобы дать им поесть, то я попрошу себе еще хоть ломтик», — подумал я.

Но увы! Ничего подобного не случилось.

— Негодяйки, хотят пить, надо им дать, Ромен, воды, чтобы они, чего доброго, не сбесились от жажды, — и он налил им полную чашку.

— Так как ты теперь живешь с нами, то я вменяю тебе в обязанность никогда не оставлять их без воды.

— А что же дать им поесть, дядя? — робко спросил я.

— В доме довольно крыс и мышей, которыми они и могут питаться, если им набивать брюхо, они заленятся и перестанут делать свое дело — ловить мышей.

Таким образом, наш ужин скоро был прикончен, дядя велел мне идти за ним в комнату, которая отныне будет моей.

Мы поднялись наверх по лестнице, которая также была вся завалена разной мебелью,

так что с трудом можно было по ней пройти.

На ступеньках лежали заржавленные железные решетки от каминов, старые часы, статуэтки из дерева и камня, вертела, кастрюли, фаянсовые вазы, горшки причудливых форм и еще много таких вещей, каких мне и видеть раньше не приходилось. На стенах было привешено оружие, старое и новое, висели картины в рамках и рамы без картин, все имело какой-то странный фантастический вид, который еще увеличивался от мерцания маленькой свечи.

Для чего вся эта куча вещей дядюшке? Но я не находил в своем уме ответа на этот естественный вопрос. Только много времени спустя я узнал, что кроме должности нотариуса и пристава дядя торговал «редкостями и антиками» и давал деньги взаймы под большие проценты и под залог разных вещей.

Дядя Симон, как я узнал потом, мальчиком уехал из родной деревни, в течение 20 лет находился на службе у полицейского комиссара в Париже и вернулся домой, сколотив изрядный капитал. Здесь устроил он себе контору и продолжал наживать деньги всякими способами.

Контора была только вывеской. Он скупал мебель и вещи на аукционах и продавал их втридорога знакомым купцам в Париже. Сам же он приобретал их за бесценок, пользуясь крайней нуждой и безвыходным положением разорившихся людей. Поэтому-то весь его огромный дом от погреба до чердака представлял собой лавку древностей.

Комната, в которую мы вошли, была громадная, точно сарай, до такой степени завалена вещами, что он должен был показать мне мою кровать, сам я не отыскал бы ее. На стенах висели старинные вышивки с фигурами во весь рост, чучела животных, морской ворон, крокодил с красной разинутой пастью; в углу, позади сундука, стояло рыцарское вооружение, мне казалось, что в него кто-то забрался и латы двигались.

— Чего ты боишься, никто тебя тут не съест. Видел, какие у меня запоры, а потому живо раздевайся и ложись спать! Я сейчас унесу свечу, у нас раздеваются и ложатся спать без огня.

Я скользнул в постель, но едва за ним затворилась дверь, как мне стало невыразимо страшно и я невольно закричал.

— Дядя, дядюшка, вернитесь, ради Бога!

Он с неудовольствием вернулся.

Меня охватил какой-то безотчетный ужас остаться одному в этой холодной огромной комнате.

— Дядя, этот рыцарь живой? Он двигается! Я его боюсь.

Дядя подошел к моей постели и секунду так глядел мне в глаза, что у меня сердце замерло от страха, я думал, что он сейчас меня убьет.

— Никогда не смей мне говорить подобных глупостей, а то я тебе задам! Век будешь помнить! Спи, дурак!

С этими словами он вышел, заперев за собой дверь, и скоро шаги его замерли на лестнице. А я больше часа дрожал под сырым холодным одеялом, закутался в него с головой и не смел высунуть носа, хотя кругом было тихо. Наконец я расхрабрился настолько, что поднял голову и открыл глаза.

Через высокие окна в комнату падал лунный свет и освещал ее прихотливыми бликами, разделяя на две половины — светлую и темную. На дворе завывал ветер, стекла звенели время от времени в старых рамах и маленькие облачка набегали и застилали собой луну. Я долго смотрел на небо. В эту тяжелую минуту одиночества оно было для меня то же, что маяк для моряка. Я закрыл глаза и старался заснуть, но от порыва ветра заколебались ставни, дерево закрипело, ковер и обои заколыхались, и от одной вышивки в раме отделился красный человек, он размахивал саблей и приближался ко мне. Крокодил начал танцевать на конце веревки, раскрывая свою страшную пасть; чудовищные тени побежали по потолку, в то время как рыцарь, которого, очевидно, разбудил весь этот шум, зашевелился в своем фантастическом вооружении.

Я снова замер от страха, хотел кричать, умолял рыцаря защитить меня от красного человека и от крокодила, но я не мог пошевелить ни одним членом и мне показалось, что я умираю. Дальше я ничего не помнил.

На другой день дядя далеко не ласково разбудил меня. На дворе уже был день.

Красный человек неподвижно стоял на своем месте в рамке.

— Постарайся просыпаться сам, и пораньше, — сказал дядя, — чтобы будить тебя уже не приходилось, а теперь одевайся поживей и пойдем в контору. Я засажу тебя за дело, которое ты будешь делать до моего возвращения.

Дядя Симон принадлежал к тем маленьким, вечно подвижным людям, которые ни минуты не могут оставаться спокойными, а вечно суетятся. У него в крови была энергия, присущая всем Кальбри, но у него она доходила до какого-то остервенения.

Худой, маленького роста, почти карлик, он целый день был в движении. Вставал в четыре часа утра, тотчас же бежал в свою контору, где и работал без отдыха до прихода клиентов, т. е. до восьми или до девяти часов утра.

Эту пятичасовую утреннюю работу я должен был списывать весь остальной день, надо было заготовить ему копии со всех бумаг.

Я с нетерпением ждал, когда он уйдет и я останусь один, поэтому тотчас же после его ухода я бросил урок, который он мне задал, и побежал наверх.

У меня в голове засела мысль: отомстить красному человеку за ночные страхи. Я чувствовал, что если на следующую ночь он снова отделится от стены, выйдет из рамы и станет грозить мне саблей, то я умру от страха. В кухне я нашел очень скоро молоток и гвозди. Этого добра было в доме довольно — дядя чинил все сам.

Вооружившись молотком, я пошел прямо к красному человеку. Он имел самый спокойный и безобидный вид и оставался совершенно неподвижным в своей раме. Но я не дался в обман этому коварному спокойствию и сильным ударом молотка пригвоздил его руку к стене.

Рыцарь было стал волноваться в своем вооружении, но на дворе сияло яркое солнце, я не побоялся и ему закатить здоровый удар молотком по кирасе, а крокодилу пригрозил хорошенько молотком, чтобы он понял, что при случае попадет и ему. Сделав это, я совсем успокоился и пошел вниз, удовлетворив мстительному чувству к ночным своим врагам. Времени оставалось много, и я успел написать заданную работу до возвращения дяди.

Он остался доволен моим писанием и в награду позволил пойти развлечься и отдохнуть. Отдых состоял в том, что я должен был выколотить пыль из мебели и обтереть ее тряпкой.

Боже! Какая громадная разница между настоящей жизнью у дяди и счастливым прошлым у г-на Бигорея и у матери!

Я безропотно подчинился четырнадцати часовой работе в день, но решительно не мог примириться с жизнью впроголодь. Я видел, что, кроме одного ломтя хлеба с сыром утром и вечером, мне ничего не получить. А этим я только раздражал свой голод и мне все время мучительно хотелось есть. На четвертый день я не вытерпел и осмелился в тот момент, когда дядя стал запирать шкаф, протянуть руку и попросить еще хлеба.

— Ты хочешь получить вторую порцию — хорошо, что сказал, с этого вечера я буду тебе давать целую ковригу и ты можешь отрезать от нее, сколько захочешь.

За эти слова я готов был броситься ему на шею и расцеловать его, но он продолжал:

— Но ты устраивайся так, чтобы тебе твоей ковриги хватало на неделю! Помни, второй не получишь, хоть умри! В пище должен быть порядок, как и во всем остальном. Ничто так не обманчиво, как аппетит, особенно в твоем возрасте, когда у всех ребят бывают глаза не сыты... Три четверти фунта в день, — это порция, которая дается больным в больницах, и она совершенно достаточна для одного здорового человека. Доктора — ученые люди и знают все, что надо для здоровья. Есть сверх этого еще что-нибудь будет обжорство, которого я ни за что не потерплю у себя в доме.

Я захотел хорошенько выяснить для себя, сколько же ломтей в трех четвертях фунта

хлеба.

При моем отъезде из Пор-Дье мать дала мне монету в 40 су. Я пошел к булочнику напротив и попросил у него три четверти фунта, которые он мне и отвесил. Вот она больничная-то порция. Через 10 минут я не утерпел и отрезал от нее кусок, несмотря на то, что прошло всего четверть часа после моего скудного завтрака. Зато за ужином я уже не был до такой степени голоден, как накануне.

— Ну, не прав ли я был, — заметил дядя, видя, что кусок моей ковриги не уменьшился; — ты, значит, можешь воздержаться от второго куска. Так-то, дружок, и во всем остальном. То, что свое, человек всегда прибережет лучше, чем чужое, а когда у тебя заведутся свои собственные деньги, ты захочешь их приберечь так же, как этот хлеб!

Я не решился ему сказать, что докупал хлеба на свои деньги. У меня оставалось еще 35 су, конечно, их хватило ненадолго. В 15 дней я их израсходовал, потому что они были мне единственным подспорьем, чтобы не умереть с голоду. Аккуратность, с которой я ходил в булочную покупать дополнительную порцию хлеба, доставила мне знакомство с булочницей. Вот однажды она мне и говорит:

— Мы с мужем не умеем писать, не возьмешься ли ты, голубчик, написать нам недельный счет? За это в понедельник утром ты можешь выбрать себе два черствых пирожка, какие тебе понравятся.

В этот день я истратил последние три су, поэтому можете вообразить, с каким восторгом я взялся за эту работу. Конечно, я предпочел бы получить один хороший фунт простого хлеба вместо сладких пирожков, но я не осмелился об этом заявить: хотя дядя не покупал в этой булочной, ему привозили хлеб из деревни на один су дешевле за фунт, но дядюшкина скупость хорошо была известна всему городу, и мне было совестно признаться посторонним людям, что я постоянно голодаю и даже хлеба не получаю вволю, все-таки он мне приходится родней!

Вероятно, порция хлеба, достаточная для больных и арестантов, поэтому не была достаточна для меня, что в больницах и тюрьмах к ней прибавлялись суп, мясо или зелень, тогда как у нас хлеб с сыром и полселедки составляли ежедневную и единственную пищу.

Если дядя уезжал на целый день и не ночевал дома, то я должен был приберечь ему половину селедки к следующему дню.

Одним словом, до чего я голодал в это время, можно судить по следующему факту.

Позади нашего дома находился небольшой двор, составляющий часть усадьбы господина Бугор. У него не было семьи, а потому он пристрастился к животным. Великолепная пиренейская собака с белой пушистой шерстью и розовым носом была его любимицей. Ее звали Пато. Пато вредно было жить в закрытом помещении, и ему выстроили отличную будку позади нашего забора, туда же ему приносили два раза в день молочный суп в чистой фарфоровой мисочке. Потому что соусы и подливки с господского стола тоже были ему вредны.

Как все балованные собаки, Пато ел мало и капризничал: иногда он только обедал, тогда уже не завтракал, иногда наоборот, так что мисочка часто оставалась нетронутой. Когда я гулял по своему двору, то видел через забор, как кусочки белого хлеба плавали в молоке, а Пато, растянувшись рядом, сладко спал. В заборе была довольно большая дыра, через которую Пато часто хаживал к нам в гости. Так как он пользовался репутацией очень свирепой собаки, то дядя поощрял его визиты. Это был надежный сторож и, что самое главное, даровой.

Несмотря на свирепую наружность, у Пато было предоброе сердце. Он легко привязывался к людям, и мы скоро сделались неразлучными друзьями. Часто вместе играли и бегали на нашем дворе. Однажды, когда он унес к себе в конуру мою фуражку и ни за что не хотел принести ее обратно, я рискнул сам пролезть через дыру и очутился у него в гостях. Мисочка стояла на своем обычном месте, полная до краев густого молока с пенками. Это была суббота. От моей ковриги, которую я ел не довольно расчетливо за неделю, оставалась одна горбушка величиной с яблоко. Мне страшно захотелось есть, я стал на колени и жадно

выпил из мисочки все молоко. Пато стоял рядом и дружески вилял хвостом. Доброе создание! Он был моим единственным другом в эти трудные времена!

С этих пор я почти каждый день пролезал через дыру и мы ужинали вместе. Он очень радовался моему приходу, с лаской протягивал лапу и смотрел на меня своими большими, влажными, добрыми глазами, точно понимал, как мне тяжело жилось.

Очень часто жизнь человеческая зависит от самых ничтожных обстоятельств. Возможно, что вся будущая жизнь моя сложилась бы совершенно иначе, если бы Пато оставался всегда моим соседом. Но каждое лето г-н Бугор уезжал в горы и брал с собой своего любимца. Так случилось и в этот год.

С отъездом Пато началась для меня еще более грустная жизнь и прежняя голодовка. Дядя проводил целые дни на постройках в своем имении, а я, окончив заданный урок, предавался самым безотрадным мыслям.

Больше всего, конечно, вспоминал я о своей прежней жизни в Пор-Дье и на Пьер-Ганте, а от этих мыслей о прошлом мне становилось еще тоскливее. Я написал несколько писем матушке, но почти все их уничтожил. Денег на марки у меня не было, а заставлять ее платить по шести су за письмо, когда она сама зарабатывала всего десять су в день, у меня не хватало духу.

Поэтому все мои сношения с ней ограничивались поклонами, которые я передавал ей один раз в неделю через торговца соленой рыбой, когда он отпрашивался по субботам в Пор-Дье за товаром.

Я забыл сказать, что в это время к моим невзгодам прибавилась еще одна: с некоторых пор я стал замечать, что моя порция хлеба стала уменьшаться сравнительно с прежней, очевидно, кто-то резал мой хлеб. Дядюшкина половина всегда находилась под ключом, а моя лежала в незапертом месте. В доме, кроме нас двоих, никого больше не было. Я сделал надрезку на хлебе и на другой день убедился, что кто-то резал его без меня. Тогда я решил поймать вора, который пользовался моими несчастными крохами.

Оказалось, что это был сам дядя. Я накрыл его на месте преступления: он резал мой хлебец в тот момент, когда я открыл дверь, за которой нарочно спрятался. Негодование придало мне храбрости, на которую я обыкновенно не был способен в сношениях с ним.

— Дядюшка, ведь это мой хлебец, — во весь голос закричал я, — зачем же вы его режете себе?

— Да разве я режу твою коврижку для себя, — спокойно ответил он, точно ничего не случилось, — это я резал для белой кошки; у нее теперь котятка, я думаю, ты не желаешь, чтобы они подошли с голоду. Надо жалеть и животных, Ромен, запомни это раз навсегда.

Что мне оставалось отвечать на это! Я отлично понимал, что он лжет, но уличить его не мог, зато на сердце закипала злоба; одна мысль, что я был его племянником, вызывала у меня краску стыда.

Еще со времени нашего визита в контору братьев Леге у меня появилось к дяде Симону недоброе чувство, оно все росло и росло по мере того, как я видел, какой это был жадный, жестокий и фальшивый человек.

В детской душе моей разгоралось доселе неизвестное чувство презрительной ненависти. Каково же мне было сознавать, что я нахожусь в его полной власти.

Теперь, после стольких лет, вспоминая все проявления его необыкновенной скупости, мне становится смешно, до того они были нелепы, но тогда я испытывал глубокое негодование и обиду.

Обыкновенно он одевался страшно грязно и неряшливо. Каково же было мое удивление, когда я увидел его однажды утром перед зеркалом; он заботливо оглядывал себя со всех сторон и примерял шляпу.

При этом верх шляпы он вычистил по ворсу, а низ против ворса; так что одна половина была гладкая, а другая взъерошенная. Я подумал, уж не с ума ли он спятил? Шляпу эту он очень берег и надевал ее с большими предосторожностями, чтобы как-нибудь не испортить и не смять.

— Пойди-ка сюда, Ромен, — сказал он, — что ты думаешь насчет моей шляпы? Какова она?

Мне пришло в голову несколько ответов, но я не рискнул их высказать вслух.

— Имеет ли моя шляпа достаточно траурный вид и похожа ли на креп нижняя часть с приподнятым ворсом? Дело в том, что твой дядя, а мой брат Жером из Канкаля, умер; и мне сегодня надо идти на его похороны, а это требует больших расходов; надо потратиться на дорогу, надо купить креп на шляпу, и всего для одного раза, потому что я, слава Богу, не настолько глуп, чтобы носить траур по смерти человека, не оставившего после себя в наследство ни гроша!

Я никогда не видал дяди Жерома, но слышал о нем от матери, что это был бедный и несчастный человек. Я также знал, что они росли вместе с дядей Симоном и были почти однолетки. И теперь меня страшно возмутило то равнодушие, с которым он относился к его смерти.

Положим, такое отношение к людям со стороны дяди для меня было не ново, я видел его жестокость и бессердечие чуть ли не на каждом шагу. Ведь деревенский стряпчий и пристав судебный — это человек, который является свидетелем всяких бед и всяких перемен со своими односельчанами, тем более что дядя был еще и банкиром или, вернее, ростовщиком в Доле. Я невольно присутствовал при всех его переговорах с клиентами, и он удалял меня из комнаты только в исключительных случаях, когда решались какие-нибудь выходящие из ряда вон важные дела.

Никогда я не видал его растроганным несчастьем ближнего; к слезам и мольбам он оставался глух и нем, как истукан, а если слезы и просьбы начинали ему надоедать, он вынимал часы и клал их рядом с собой.

— У меня нет больше времени для разговоров, у вас есть что-нибудь сказать мне деловое, я к вашим услугам, но имейте в виду, что каждый час моего времени стоит четыре франка. Теперь четверть первого, угодно вам продолжать?

Такое отношение к бедным людям часто меня возмущало до глубины души, но я не смел вмешиваться. Первый раз, когда я не вытерпел и осмелился вступить за одного бедняка, я за это жестоко поплатился своими боками.

Вот как было дело: дядя купил с аукциона старинное аристократическое имение, купил он его за бесценок и отделывал теперь дом заново; он ездил туда лично следить за работами почти каждый день и возвращался поздно вечером. Однажды в субботу, в его отсутствие, пришел каменщик, который производил все ремонтные работы в доме; он очень удивился, застав меня одного, потому что дядя сам назначил ему этот день и час для сведения счетов.

Трафарен — так звали каменщика — остался ждать; прошел час, другой, третий, а дяди все не было, он вернулся домой только к 8 часам вечера.

— А! Это вы, Трафарен! — удивился он. — Вы долго ждали, что делать, — меня задержали важные дела.

У дяди Симона была манера, которую впоследствии я не раз замечал и у других так называемых деловых людей: они всегда стараются напустить на себя важность, хотя бы дело шло о пустяках.

Вместо того чтобы заняться делом с Трафареном, он стал меня расспрашивать, что было без него в течение дня; перечитал полученные письма и бумаги, пробежал листы описей, проверил мою работу, и только тогда, наконец, обратился к каменщику, терпеливо ожидавшему конца всех этих проволочек.

— Ну, что же вы хотите от меня, милый друг?

— Г-н Кальбри, вы хотели уплатить по счету, а мне до зарезу сегодня нужны деньги!

— Это весьма возможно, но у меня теперь нет ни копейки денег.

— Завтра мне срок платежа по векселю вашего компаньона, если я не заплачу, он подаст на меня к взысканию; вот уже шесть месяцев, что вы обещаете уплатить за работу; я поверил вашему слову и дал на срок вексель.

— Слову! Что такое слово! — с досадой перебил дядя.

— Разве я сказал вам, что даю честное слово платить именно в эту субботу! И так слово, о котором вы так много говорите, было дано неопределенно: слово слову рознь, надо это различать, г-н Трафарен; не забывайте этого на будущее время.

— Я не знал, что это так, извините! Хотя я простой и бедный человек, но, тем не менее, если я говорю, что я заплачу в субботу, — я это и делаю.

— А если вы не можете заплатить?

— Когда я обещаю, — значит могу; поэтому-то я вас теперь и беспокою. Если я завтра не уплачу своего долга, то в понедельник придет пристав, арестует меня и опишет мое имущество, а у меня дома больная умирающая жена, и это ее окончательно убьет.

На все эти доводы дядя твердил одно:

— У меня нет денег, милый друг, и конечно; не могу же я пойти украсть, чтобы расплатиться с вами. Если же вы начнете со мной судиться, так раньше года ни одного су не получите.

Я отлично видел, что дядя врет; дней пять тому назад кредитор Трафарена был у нас. Я слышал, как он советовал дяде довести дело «до крайности»: хорошенько я не понимал, в чем суть, но догадывался, что вексель Трафарена принадлежал дяде. В эту минуту я понимал одно, — что должен придти на помощь бедняге каменщику, если бы даже мне за это самому влетело. Когда дядя в десятый раз повторил эту фразу: — если бы только у меня были деньги, я бы вам их отдал, — я собрался с духом и громко произнес:

— У меня есть деньги, я получил их за вас сегодня.

Едва я сказал эти слова, как получил под столом такой пинок ногой, что свалился со стула и покатился на пол.

— Что с тобой, Ромен! — кротким голосом спросил дядя, при этом он наклонился надо мной и до крови ущипнул меня за руку.

— Какая ты юла, не можешь спокойно сидеть на месте! Другой раз не вертись! — прибавил он, когда я не своим голосом закричал от боли. Трафарен, занятый своими мыслями, ничего не заметил: ни пинка под столом, ни щипка, посмотрел на нас с удивлением и проговорил поспешно:

— Так, у вас есть теперь деньги, г-н Кальбри, то я надеюсь, вы их мне сейчас дадите.

Я вскочил на ноги, не помня себя от боли и обиды, быстро открыл ящик и вынул банковые билеты; они оба потянулись за ними, но дядя оказался быстрее, в одно мгновение он выхватил всю пачку из моих рук.

— Слушайте Трафарен, — сказал он, помолчав с минуту. — Я сделаю для вас все, что только в моих силах, и докажу, что у меня больше щедрости и доброты, чем обо мне думают: так и быть, я отдам вам эти деньги, хотя я ими должен был завтра заплатить долг чести. Распишитесь же, что вы их получили.

Я думал, что от радости каменщик бросится дяде на шею, но ничего подобного не случилось.

— Г-н Кальбри, ведь вы мне должны не три, а четыре тысячи франков, — проговорил он взволнованным голосом, с укоризной смотря дяде в глаза.

— Так что же из этого?

— Как что? Я должен получить с вас четыре тысячи, а вы мне даете всего три! Ах, г-н Кальбри!

— Значит, вы не желаете получить этих трех тысяч. Что же, и прекрасно! Я очень рад, мой милый, вы оказываете мне этим большую услугу! Я хотел вас выручить! А место этим деньгам у меня всегда готово.

— Г-н Кальбри, но ведь вы меня грабите, побойтесь Бога! — бедняк был бледен, как полотно, и на глазах у него дрожали слезы.

Дядя пожал плечами — как, мол, хотите, и сделал движение запереть деньги в ящик!

— Умоляю вас, г-н Кальбри, пощадите меня, ради всего святого!

Дядя не поворачивался и щелкнул ключом.

Тогда несчастный человек увидел, что легче скалу сдвинуть с места, чем тронуть этого

человека, и проговорил глухо:

— Давайте деньги.

Дядя молча протянул пачку.

Каменщик мрачно пересчитал банковые билеты, спрятал их и, надевая шапку, проговорил:

— Лучше век оставаться таким бедняком, как я, чем богатеть такими путями, как вы, г-н Кальбри, ограбив бедняка, — и он вышел не поклонившись.

Дядя побледнел от злобы и стиснул зубы:

— Это дело вкуса! — послал он вдогонку, а сам запер за ним дверь и обратился ко мне.

— Теперь я разделаюсь с тобой, голубчик! — и с этими словами он отвесил мне такую пощечину, что я, как сноп, покатился снова под стол.

— Отвечай мне, бездельник, ты нарочно подстроил мне всю эту штуку с деньгами, я наверно знаю, что нарочно! — при этом лицо его исказилось от злобы. Удар сделал мне страшно больно, но не лишил сознания, мне хотелось одного — отомстить моему мучителю.

— Да, я сделал это нарочно! — как можно твёрже ответил я, приподнимаясь с пола.

Он бросился на меня с кулаками, но я был увертливее его и в одну секунду очутился по другую сторону стола. Он сообразил, что, бегая вокруг стола, ему меня не догнать, тогда он оглянулся кругом, схватил со стола огромную счетную книгу и со всего размаха запустил ею мне в голову. Я покатился кубарем, ударившись головой об угол стола и на минуту потерял чувство. Придя в себя, я с трудом поднялся и от слабости еле держался на ногах. Все лицо у меня было залито кровью.

— Ступай умойся, паршивец, и запомни хорошенько, что тебя ожидает на будущее время, если ты будешь вмешиваться не в свое дело. А если ты еще хоть раз повторишь что-либо подобное сегодняшнему, я тебя изобью до смерти.

— Пустите меня домой к маме, — зарыдал я в ответ.

— Домой, к маме! Скажите, какие нюни распустил. Помни, каналья, что ты обязан прослужить у меня пять лет и что раньше этого срока ты никуда не уйдешь, дуралей! Я тебе такую маму покажу, что ты будешь помнить всю жизнь, заруби себе это на носу. Раньше пяти лет — никуда ни шагу!

Мне и прежде не раз приходило на мысль убежать от дяди; пробраться из Доля в Гавр, там попроситься на какой-нибудь корабль и уплыть подальше в море — в Австралию или Бразилию. Особенно часто я думал об этом в часы голодовки и безотрадного одиночества.

Глава VII

Мысль о матери останавливала мои планы, но жизнь у дяди была до того невыносима, что если бы она знала, как мне тяжело, то, верно, скорее согласилась бы отпустить меня на корабль, чем оставить в Доле. Все равно я живу в разлуке с ней, а пять лет впереди казались мне вечностью. Во время отлучек дяди я часто намечал себе дорогу на большой карте Нормандии, которая висела у нас на лестнице вместе с другим хламом. Г-н Бигорель научил меня обращаться с географическими картами и я довольно ясно представлял себе расстояния. За неимением настоящего циркуля я устроил себе самодельный, или, вернее, подобие его из дерева, и разграфил карту так, как учил меня этому когда-то все тот же незабвенный г-н Бигорель.

Из Доля мне надо было направиться через Понтарсон в Арванш; только к вечеру я туда доберусь. Из Арванша к Виллер-Бокажу, потом в Казн, Дозюле и через Понт-Эвек в Гонфлер. Это займет дней восемь ходьбы, не больше. Хлеб стоил в то время три су за фунт. Если бы только я мог скопить себе 24 су, я бы дорогой не умер с голоду! Но где их достать? Вот в чем был весь вопрос. Меня больше всего останавливало это непреодолимое препятствие, потому что дядя никогда не давал мне ни одного су. Но долгие выносить

голод, одиночество, непосильную работу и, наконец, жестокие побои за правое дело я больше не мог.

Дядя представлялся мне каким-то отвратительным злым пауком, и жить еще пять лет в полной власти у этого паука! Нет, лучше голодная смерть, чем такая жизнь, думал я, уткнувшись в подушку. Я задышался от горечи, обиды, боли, а дядя к тому же запер меня в моей комнате на ключ.

— Убежать, сегодня же и во что бы то ни стало, чем скорее, тем лучше! — думал я. Благо теперь лето, на дворе тепло. На лугах и полях косят сено, на котором можно выспаться ночью, а в лесах я могу найти ягоды и птичьи гнезда с яйцами. Буду питаться чем попало. Наконец, может быть, я случайно найду на дороге несколько су, или встречу доброго человека — извозчика, который подвезет меня, а может быть, и даст кусок хлеба, если я постерегу его лошадь, пока он будет обедать в харчевне. Ведь в этом ничего нет невозможного, разве не бывает подобных случаев?

Только бы мне добраться до Гавра! Дальше я не сомневался, что найду капитана какого-нибудь корабля, который возьмет меня юнгой — вот я и моряк! Чего же лучше, это именно будет жизнь, о которой я мечтал с тех пор, как стал себя помнить.

На корабле я буду делать все, что мне прикажут, может быть, даже что-нибудь заработаю и привезу все деньги матушке. Как она обрадуется мне, наверно простит, мой побег, когда я расскажу ей, как мне невыносима была моя теперешняя жизнь, и мы больше не будем никогда с ней разлучаться! Ну, а если, чего доброго, корабль наш потерпит кораблекрушение, и тут беда невелика — необитаемый остров, дикари, попугаи... Я буду жить, как Робинзон, недаром г-н Бигорель учил меня всякой всячине, теперь мне все это пригодится! А какая это будет привольная и необыкновенная жизнь! При мысли об этом чудесном будущем я уже не чувствовал боли от раны на голове и забыл, что я еще сегодня не ужинал.

Каждое воскресенье дядя с утренней зарей отправлялся на весь день в свое новое имение и возвращался только поздней ночью.

Таким образом, от вечера субботы и до понедельника утра я был уверен, что не увижу его.

Если бы мне удалось бежать сегодня ночью, то у меня впереди целых 36 часов до того времени, что он хватится меня искать. Но убежать было нелегко: у дверей были крепкие замки, единственная возможность была выпрыгнуть в окно, хотя от земли оно было и высоко, потому что комната моя была на втором этаже.

Можно упасть и здорово расшибиться, но другого способа не было! Если же я выберусь удачно из окна во двор, то перелезу через дыру, оттуда в сад г-на Бугор, а от него рукой подать до полей и до большой дороги.

Я тщательно обдумывал этот план, лежа в темноте. Конечно, надо было действовать крайне осторожно, чтобы не попасться, и ждать момента, когда дядя крепко заснет.

Мысли мои были прерваны неожиданными звуками осторожных шагов на лестнице; я притворился, что крепко сплю, и повернулся лицом к стене. Дядя на цыпочках вошел в мою комнату, осторожно отперев дверь ключами. В руке у него была свеча. Другой рукой он закрывал свет; он подкрался к моей кровати.

Что если он уже догадался о моих планах и теперь начнет за мной следить, с ужасом подумал я, сердце у меня замерло при этой мысли. У страха глаза велики. Дядюшка, по всей вероятности, был далек от подобных подозрений. Он прислушался, полагая, вероятно, что я крепко сплю; он наклонился надо мной, поднес свечу к голове и осмотрел рану, слегка откинув волосы.

— Пустяки, завтра же заживет, — пробормотал он, — и так же тихо вышел, как и вошел, причем снова запер дверь на ключ.

Приблизительно час спустя после этого визита я тихонько встал с постели, прислушался: в доме ни звука, дядя, наверно, теперь крепко спал. Я стал готовиться к побегу. Что надеть — праздничное платье или простое? Одну минуту я колебался, но

благоразумие взяло верх, и я надел толстую куртку и штаны из грубого матросского сукна. В узел завязал две рубашки и пару чулок, а башмаки взял в руки, чтобы не стучать, и босиком пробрался к окошку.

Тихонько открывши раму, я бросил вниз узелок и хотел начать спускаться по водосточной трубе, как вдруг меня осенила смешная мысль.

Я отошел от окна, ночь была хотя и безлунная, но довольно светлая, к тому же глаза мои привыкли к темноте. Я подставил к стене стул, влез на него, осторожно снял со стены картонного крокодила, перерезал карманным ножом веревку, на которой он держался, схватил его обеими руками и уложил на свою постель. При этом укрыл его с головой одеялом, так что издали фигура походила на спящего человека.

Воображаю, какое лицо сделает дядя, когда утром в понедельник придет меня будить. Эта мысль меня развеселила до того, что я схватился за бока и удерживался как мог, чтобы громко не расхохотаться.

Еще подумает, пожалуй, что крокодил меня съел, а сам лег на мое место. Эта шутка казалась мне до того забавной, что я позабыл всю опасность своего предприятия. Как он разозлится, как будет плевать и кричать, а меня и след простыл, я уж в это время буду, у-у! Как далеко!

Я стал тихонько спускаться по трубе, привязав башмаки у пояса, и наконец прыгнул на землю с довольно большой высоты. Меня порядком тряхнуло, но я бодро вскочил, нашел свой узелок и в одну минуту очутился в соседском саду!

Здесь разом моя веселость поутихла. Тут было темно, мрачно и страшно. Все-таки чувствуешь себя под крышей много храбрее! Я с беспокойством осмотрелся кругом. Высокие темные деревья напоминали каких-то чудовищ с раскинутыми темными лапами. В листве виднелись черные дыры, от которых я не мог оторвать глаз, точно в них сидел кто-то спрятанный. Легкий ветерок пробежал по деревьям, они закачались и точно застонали вокруг меня. Я со страху бросился назад в будку Пато. Живи он по-прежнему здесь, может быть, у меня не хватило бы духу убежать!

Я всегда считал себя храбрым мальчиком, но теперь у меня от страха дрожали руки и ноги, даже зубы стучали. Мне стало стыдно за свою трусость и я всячески старался сам себя успокоить.

— Если я действительно такой трус, тогда все пропало, надо вернуться снова к дяде и начать по четырнадцати часов в день переписывать его кляузные бумаги. Эта мысль мгновенно меня отрезвила: нет, бояться нечего. Самое страшное осталось позади!

Я вылез из будки и пошел прямо к страшному дереву. Оно, казалось, говорило мне: «Стой! Дальше ты не пойдешь». При моем приближении от шума шагов птички в его листве разлетелись во все стороны. Это меня ободрило немного: значит и я сам могу внушать еще страх другим. Тогда я живо перебросил узелок через садовую стену, надел башмаки, вскарабкался на верх стены и огляделся: ни души — передо мной раскинулась пустынная равнина, а за ней свобода и простор...

Я спрыгнул со стены, схватил узелок и пустился бежать без оглядки, куда глаза глядят, только все вперед и вперед! Остановись я хоть на одну минуту, я, кажется, умер бы от страха. Наконец я очутился на лугу, на котором была плотина для отвода болотной воды в море. Сено скосили, и сквозь дымку беловатого тумана я увидел по краям дороги свежие копны. У меня перехватывало дух от усталости, и я чувствовал, что дальше бежать нет сил; свернул с дороги и забился в свежее душистое сено.

Две мили по крайней мере отделяли меня от Доля. Только растянувшись на сене, я почувствовал необычайную слабость. Кроме усталости от побега присоединились побои дяди, мое падение, потеря крови, голод — и я моментально заснул, как убитый. В сене еще сохранилась теплота солнечного жаркого дня, поэтому я чудесно согрелся и, засыпая, слышал, как лягушки в болоте заливались на все голоса.

Однако под утро я озяб. Меня разбудил сырой предрассветный холодок, о котором я прежде не имел понятия, он пронизал меня до костей. Звезды только что начинали гаснуть.

Большие белые полосы прорезали в разных направлениях ночное небо. Над лугом поднимался, точно столб дыма, синеющий туман.

Платье мое так отсырело, как-будто я в нем выкупался, а по всему телу пробежала лихорадочная дрожь. Еще хуже этой дрожи было общее состояние тяжести, которую я испытывал и в теле и на душе.

Кораблекрушение и жизнь на необитаемом острове теперь, утром, не представлялись мне в таком привлекательном свете, как накануне ночью. Боже мой, что я наделал! Убежал воровски от дяди? Что скажет на это матушка, когда узнает о моем побеге, и моем плане уехать в ненавистное ей море!

Бедная, как она встревожится, огорчится и, наконец, разгневется на меня за мой своевольный поступок. Господи, что же мне теперь делать? Научи меня!

Несмотря на холод, я не двигался с места, а, закрыв лицо руками, стал горько плакать. Я плакал до тех пор, пока не выплакал все слезы и, немного успокоившись, стал думать о том, как мне поступать дальше и что делать, так, чтобы вперед не раскаиваться.

Мысль о возвращении в Долю не приходила мне в голову ни разу. А все же, подумавши хорошенько, я значительно изменил первоначальный план побега. Я решил идти с места прямо домой в Пор-Дье и еще раз повидать мать.

Если к вечеру я приду домой, то могу незаметно спрятаться в рубку и, не возбуждая подозрений, вдоволь наглядеться на нее и на родное гнездо.

Я отлично сознавал, что главная моя вина не в том, что я убежал от невыносимой жизни у дяди, за это она на меня и не подумает сердиться, наоборот, только пожалеет меня, а вот то, что я решаюсь уйти в Гавр и уплыть оттуда в море без ее разрешения и благословения, это уж совсем другое! Это будет прямым ослушанием ее воли.

Я оправдывал себя тем, что другого выхода для меня теперь не было, но все же проступок мой казался мне менее ужасным, если я еще раз побываю дома, мысленно прошусь с ней и с родными, дорогими сердцу местами; мысленно обниму ее и попрошу простить меня за мое непослушание, а там будь что будет!

С такими мыслями я вскочил на ноги, мне предстояло до вечера пройти 12 лье. Скоро взойдет солнце, уже началось предрассветное щебетанье пташек!

Я бодро пошел вперед. Меня подкрепил покойный сон и отдых, а еще больше радость увидеть матушку и родной дом. Я так соскучился в Доле, так давно ее не видал, что теперь я только и думал об этом; а надежда близкого свидания с нею удвоила мои силы. Ночные страхи рассеялись с утренней зарей. Я теперь не боялся ночных призраков и даже страх за последствия моего поступка уменьшился теперь, когда я бодро побежал домой. Туман тоже рассеялся, беловатые клочья оставались еще кое-где по канавкам и на низко опущенных ветках плакучих ив.

Восток загорался все ярче и ярче, алая полоска света разлилась по всему горизонту вплоть до меня. Легкий ветерок пробежал по листьям деревьев и сбил с них капельки прозрачной росы; полевые цветы подняли голову и расправили мокрые листочки; прозрачная дымка быстро и легко поднималась кверху; темнота так и таяла, уступая место яркому солнцу. Какое чудное утро!

Как я раньше не замечал всей этой красоты, хотя часто с г-ном Бигорелем мы ходили встречать солнечный восход! Почему-то я прежде оставался равнодушным к красотам солнечного восхода, никогда прежде не наслаждался его красотой так, как теперь, после всех тревог минувшей ночи и моих горьких слез после пробуждения.

Это особенное настроение, однако же, продолжалось недолго. Скоро я почувствовал мучительный голод и сознание полной невозможности его утолить. Как и чем?

Цветов по дороге была масса, душистых и красивых, но ни плодов, ни ягод я пока не встретил. По-видимому, я напрасно рисковал на авось в таком важном вопросе, как голод!

Чем дальше я шел, тем сильнее в этом убеждался. В деревнях по случаю воскресного дня готовилась масса чудесных вещей, запах которых только увеличивал мои страдания.

У дверей трактиров, на столиках, стояли жирные туши жареного мяса, а из булочных

доносился аппетитный запах свежих булок, хлеба и пирожков. От одного вида всех этих прелестей у меня текли слюни, а живот сводило судорогой.

Я вспомнил, как однажды дядя советовал одному должнику своему, который клялся, что не может заплатить ни копейки, потому что умирает с голоду.

— А вы стяните себе хорошенько живот, вот и не умрете, это средство отлично помогает.

Я был так наивен, что попытался применить его на себе в прямом смысле и так сильно стянул себе куша ком живот, что еле мог дышать.

Верно только то, что люди, которые дают подобные советы, сами, по всей вероятности, никогда не голодали, иначе они убедились бы, что это сущий вздор.

Мне стало только потеплее, но голод не уменьшился ни на йоту.

Может быть, если я стану петь, то забуду про еду. Я принялся распевать во всю глотку.

Прохожие, разряженные по воскресному, с удивлением поглядывали на бедно одетого мальчугана с узелком в руках, который от усталости еле передвигал ноги, а в то же время громко распевал.

От пения мне стало еще тяжелее; в горле пересохло и к голоду прибавилась жажда. Утолить ее, впрочем, оказалось не трудно: по дороге беспрестанно попадались прозрачные, быстро бегущие к морю ручьи.

Я выбрал удобное местечко, стал на колени и с жадностью припал к воде. Главное — наполнить желудок, думалось мне, но и это средство нисколько не помогло.

Разница была лишь в том, что через четверть часа ходьбы пот лил с меня в три ручья, а слабость сделалась такая, что в глазах помутилось и я еле дотащился до придорожного дерева, чтобы прилечь в его тени. Мне казалось, что никогда в жизни я не испытывал такой усталости; в ушах у меня звенело, а в глазах ходили зеленые круги. Хотя деревня была рукой подать, я слышал, как звонили к обедне, но все равно — люди мне помочь не могли, когда у меня в кармане не было ни одной денежки, значит купить хлеба все равно было не на что!

Однако долго сидеть под деревом у большой дороги я боялся. Я уже заметил, что крестьяне, проходившие к обедне, поглядывали на меня подозрительно; меня могли начать расспрашивать откуда я иду и куда, допытаться до правды, и тогда меня могли отправить обратно к дяде Симону в Доль. Мысль об этом наполнило все мое существо таким ужасом, что я собрал последние силы и, отдохнув немного, побрел дальше.

Дорога шла каменистая, ногам становилось больно, к тому же солнце начинало припекать, день обещал быть очень жарким.

Я решил, что идти без передышки невозможно, а лучше пройти полмили и присесть отдохнуть, потом опять пройти столько же. Если начнет кружиться голова, то прилечь в холодке на траву и полежать, пока не пройдет. Медленно шагая, я старался ни о чем не думать, но помимо воли мне приходило на память то, что говорил не раз г-н Бигорель, «что Господь всегда заботится не только о людях, но даже о птичках, о цветах». Неужели же Он покинет меня теперь? С этими мыслями я вошел в небольшой лес, первый, какой мне встретился на пути.

В лесу мне стало сразу легче, прохладнее, а когда я вышел на полянку, то увидел, что она сплошь вся покрыта, точно красным ковром, лесной земляникой. Я присел на корточки и стал есть сочные душистые ягоды с таким наслаждением, какого не испытывал впоследствии ни от какого угощения, как бы роскошно и вкусно оно ни было.

Утолив голод, я еще набрал ягод полный носовой платок с тем, чтобы продать их или же обменять на кусок хлеба.

Наступил полдень. До Пор-Дье оставалась половина пути, т. е. около 6 лье.

Времени терять было нельзя, я немного подбодрился и думал, что теперь мне будет легче идти. Однако не тут то было: ноги мои совсем отказывались служить, точно свинцом налитые, поневоле пришлось присаживаться каждую минуту... Вид у меня, наверное, был крайне измученный и жалкий, потому что когда по дороге проходил за своим возом торговец рыбой, то посмотрел и говорит:

— Ты, я вижу, паренек, совсем умаялся.

— Это правда, сударь, я страшно устал, — отвечал я, — да и жара такая, что идти трудно!

— А далеко тебе?

— В Пор-Дье.

— Я и сам туда еду, садись на воз, так и быть подвезу.

Я видел, что минута была для меня решительная, поэтому собрал всю храбрость, да и говорю: — Мне нечем будет вам заплатить за проезд, денег у меня нет ни гроша, вот только ягоды! — и я развернул платок с земляникой.

— Земляника пахнет чудесно, отличные ягоды! Так у тебя нет ни грошика! Ну, Бог с тобой, садись на воз, все равно подвезу, ты, я вижу, совсем выбился из сил, приедем в харчевню, — хозяин «Зеленой мельницы», может быть, купит у тебя ягоды, так ты поднесешь мне стаканчик.

Торговец не ошибся, в трактире мне дали за мою землянику шесть су, хотя торговец рыбой кричал, что это очень мало, «разбой, обокрали ребенка»!

Но я молчал, я был рад-радехонек, что мне, наконец, удалось купить хлеба и поесть.

Таким образом, благодаря неожиданной помощи доброго торговца я добрался в Пор-Дье гораздо раньше, чем предполагал. Было только четыре часа, как раз в это время матушка всегда ходила к вечерне, и я мог пробраться в дом, а оттуда в рубку, так что никто меня не видал. В рубке все оставалось по-старому, так, как было еще при покойном отце. Невод и сети были свалены в углу вместе с другими принадлежностями для рыбной ловли. Сети высохли и съезжились, но все еще сильно пахли рыбой, смолой и морем. Я бросился и стал их целовать от умиления. До того мне стало радостно при виде этой родной и дорогой обстановки, с которой неразрывно была связана вся моя детская жизнь.

Долго я не мог успокоиться от охватившего меня волнения.

Потом я взял сети в охапку и сделал себе из них на ночь постель. Взобрался на стену к слуховому окну и посмотрел через него в кухню. Я мог отлично все видеть и слышать, что там происходило. Мне хотелось дожидаться, когда придет мама, но усталость была так велика, что я сам не заметил, как крепко заснул.

Проснулся я только поздним вечером, на дворе совсем стемнело, а за стеной слышу знакомые голоса. Я примостился у отдушины, смотрю и вижу: мама стоит у камина и раздувает огонь, в котелке варится картофель, а на лавке, прислонясь плечом к стене, сидит одна из моих теток. Я стал слушать.

— Итак, — говорила тетя, — это решено, ты пойдешь к нему в будущее воскресенье?

— Да, непременно пойду, — отвечала мама, — я так без него соскучилась, и, кроме того, хочется увидеть своими глазами, как ему там живется! Хоть в письме он ни на что не жаловался, а все же я чувствую, что он грустит, скучает по мне и по дому.

— Говори, что хочешь, — заметила тетя, — но на твоём месте я ни за что и никогда не отдала бы Ромена брату Симону!

— Что же, по-твоему, лучше было держать его здесь без призора, а потом на будущий год отпустить с рыбаками в море? Он сам только и рвется уехать.

— Так что ж из этого?

— Как что? Хорошо, ну а где теперь твой старший сын Максим? Где наши братья Жак и Фортуне? Где мой милый, бедный муженек? Где муж Франсуазы и много, много еще других, кого нам недостает! О это проклятое море! Как я его ненавижу!

— А я боюсь моря меньше, чем брата Симона. Ведь он совсем перестал быть человеком, окаменел от скупости и от жадности к своим деньгам. Разве он их честно наживает?

— Что до этого — ты совершенно права, — отвечала мама. — Эти мысли до того меня мучат, что я спать не могу спокойно по ночам. Какой пример он может дать моему бедняжке Ромену? Что ему у дяди жить не сладко — это еще не большая беда; бедняку всюду трудно живется, но худо то, что из него может выйти дурной человек, а это так легко, если он день и

ночь видит одно худое. Понять не могу, как я решилась отдать ему мальчика на пять лет. Он так заторопил меня, что я совсем голову потеряла! А теперь не знаю, что делать?

— Разве ты не можешь взять его во всякое время обратно?

— Вот то-то и горе, что не могу. Он заставил меня подписать контракт на пять лет, и если я возьму Ромена раньше этого срока, то придется платить неустойку. Да кроме того за все, что стоило содержание мальчика за этот срок. А где я возьму денег, посуди сама! Он не помилует и отца родного, не только меня, от него пощады не дождешься! Пойду хоть проведу его, моего голубчика, и спрошу подробно обо всем.

— Тогда будущую субботу я принесу тебе горшочек масла, отдай его Ромену от меня. Я уверена, что бедняга часто голодает. Симон готов себя морить голодом, а других и подавно!

С этими словами тетя встала, простилась и ушла, а матушка села ужинать! Аппетитный запах вареного картофеля так живо напомнил мне то счастливое время, когда я голодный возвращался из школы и садился за стол вместе с ней. Господи, какое это было хорошее время! А теперь?

Свет от свечи падал прямо на мать и освещал ее всю. Милая моя, дорогая мама! Какое у нее кроткое и печальное лицо, она ела без аппетита, поминутно останавливалась, подносила кусок ко рту, задумываясь, и вытирала набегавшие на глаза слезы. Несколько раз она, тяжело вздохнув, посмотрела на опустевшее напротив нее мое прежнее место.

Я понял, что она обо мне вздыхала и печалилась, и сердце мое наполнялось такой тоской и любовью к ней, что я делал невероятные над собой усилия, чтобы удержаться на своем месте и не броситься к ней на шею. Однако страх перед возможностью вернуться снова к дяде превозмог все остальные чувства.

Между тем мама со своей всегдашней аккуратностью и любовью к чистоте и порядку перемыла посуду, все поставила по своим местам, вытерла стол, а потом начала со слезами молиться. Я тоже по старой привычке стал у стены на колени и тихонько повторял за ней молитву, а когда она задула свечку и легла, я повалился на свои сети и залился слезами, стараясь сдерживать, сколько мог, душившие меня рыдания.

В эту ночь под родной кровлей мне спалось далеко не так крепко и спокойно, как вчера, в пустынной равнине Доля.

Глава VIII

Я проснулся, едва услышал пение петухов на деревне и шум прилива о прибрежные скалы. Тотчас же вскочил, тихонько собрал в узелок свои вещи и выбрался из рубки на двор.

Я боялся, чтобы не разбудить мать, или чтобы меня случайно не увидел кто-нибудь из соседей. На дворе свет чуть брезжил. Утренняя свежесть охватила меня и живо прогнала сон. Я чувствовал в голове какую-то особенную ясность, как это именно бывает в важные минуты жизни, и сознавал, что решаюсь на отчаянный и бесповоротный шаг.

В моем плане бегства в Гавр я никак не мог предвидеть одного — именно как мне будет трудно расставаться с матерью и с родным домом!

Когда я подошел к изгороди, отделяющей наш двор от далеко уходящих вдаль ланд (песчаных открытых равнин у моря), я почувствовал, что ноги меня дальше не несут и остановился. Сердце положительно разрывалось на части от горя при виде знакомой любимой картины, меня окружавшей. Петухи громко распевали у нас на задворках, соседние собаки, разбуженные шумом моих шагов, стали лаять и перекликаться в предрасветной тишине, я слышал, как позвякивали на них цепи.

Хотя домик наш еще окутывало темнотой, но на горизонте за дюнами уже занималась узкая белая полоска зари. Кусты густого терновника, росшего у нашего плетня, вполне закрывали меня, а сам я мог все видеть, что у нас делалось во дворе, я решил дожидаться,

когда мама пойдет на работу, чтобы поглядеть на нее еще хоть раз.

Пока я с замиранием сердца ожидал ее выхода из дверей, все мое детство пронеслось передо мной в целом ряде воспоминаний.

Самым ярким из них была, конечно, память об отце, о ночах, когда он убаюкивал меня песенкой моряков: «Корабль подходит к прибрежным скалам; корабль бросает якорь! — раздавалось в моих ушах. — Тир лир, лир, лир»...

Потом воспоминание о первой чайке, которую я изловил со сломанным крылом, вылечил, и она понемногу сделалась ручной, и так привыкла ко мне, к дому, так полюбила нас, что прилетала есть у меня с руки.

Потом вспомнились мне наши мучения с матерью во время бурь, ночью, когда отец бывал в плавании; молитвы перед восковой свечкой, зажженной у образа Богоматери; затем радость по возвращении отца домой, счастливая жизнь втроем, и его неожиданная геройская смерть. Какое это было страшное горе, когда его не стало...

Слезы и тоска матери первое время после катастрофы, затем мои побеги из школы, скитанья по берегу, встреча с г. Бигорелем, счастливая и беззаботная жизнь у него на острове; все это прошло одно за другим в моей душе и все это было неразрывно связано с клочком земли, на котором я родился, и сам составлял как бы частицу этого окружавшего меня мира. И вдруг я решил со всем этим дорогим прошлым и настоящим расстаться! Но вслед за этими отрадными воспоминаниями волной нахлынули и другие: о последних месяцах жизни у дяди, холод, голод, одиночество, вечное писанье скучных и непонятных для меня бумаг; наконец последние незаслуженные побои, горечь обиды, несправедливость дяди — все это переполнило невыразимой горечью мою душу.

Страх снова вернуться пленником в эту тюрьму, к этой ужасной жизни, заглушил во мне все остальные чувства.

Можно себе представить, что ожидало меня в доме дяди после моего побега, если и до этого проступка жизнь в Доле была невыносимой пыткой. Я невольно вздрогнул и оглянулся...

Огонь на маяке погас. Море засветилось под первыми лучами солнца. Над крышами домов потянулись из труб полосы желтоватого дыма. В воздухе послышался стук башмаков о прибрежные камни.

Деревня просыпалась, а я все еще оставался на месте, охваченный сомнениями и борьбой.

Я чувствовал себя в эту минуту бесконечно несчастным: страсть к морю и страх перед дядей манили меня по ту сторону изгороди, в туманную даль, а привычка к родному месту, страх неизвестности, мучения голода, испытанные вчера, дорогой из Доля, и главное — горячая любовь к матери толкали меня вернуться домой, броситься в ее объятия и остаться!..

В это время раздался церковный благовест. Еще первые звуки колокола не успели растаять в воздухе, как калитка отворилась и матушка вышла совсем одетая, чтобы идти на работу. В одну секунду у меня промелькнула мысль: — куда она повернет? — на деревню, к морю или же в противоположную сторону на вершину фалезы (дюны) в небольшой пригород, где жили исключительно землепашцы и торговцы.

Если она останется работать в деревне, то спустится ближе к морю и пойдет от меня, если же повернет в направлении дюны, то ей придется проходить как раз мимо изгороди, за которой я спрятался, тогда я не выдержу дольше и останусь с ней. Это была тяжелая минута. Пусть сама судьба распорядится за меня, думал я.

С замиранием сердца я увидел, что она повернула к морю, то есть осталась работать в деревне.

Я замер на месте и, задыхаясь от волнения, следил за ней, пока ее фигура не скрылась за первыми домами, и только изредка между зеленью кустов мелькал высокий белый чепчик. Итак, судьба моя была решена.

Солнце взошло над дюной и осветило ярким светом всю окрестность. Под его лучами старый мох на крышах отливал зеленым бархатом; кое-где виднелись желтые кусты заячьей

капусты. Благовест продолжал раздаваться в чистом утреннем воздухе. С моря потянуло ветерком, запахло соленой водой, водорослями, мне показалось, что я ощущаю на губах и во рту знакомый, солоновато-горький жесткий вкус морской воды, ждуть дольше становилось опасно; ни о чем больше не думая, я пустился бежать со всех ног через пустое поле, которое начиналось сейчас же позади изгороди нашего двора.

Я бежал до тех пор, пока совсем не выбился из сил, и поневоле присел под деревом. Равнина была совершенно пустынна, я не рисковал больше никого встретить из жителей Пор-Дье, деревня давно скрылась за горизонтом. Темная фигура таможенного часового одна мелькала на прибрежном утесе, но это было не опасно, он не мог покинуть своего поста на берегу, да по всей вероятности даже не заметил меня.

Мне предстояло решить важный вопрос: как идти дальше — вдоль морского берега или же, наоборот, по большой дороге, в глубь равнины. Двухдневный опыт ясно показал мне, что большие дороги мало пригодны для человека с пустым карманом. Каким образом и чем я буду кормиться, пока доберусь до Гавра?

Я припомнил слова г. Бигореля, что море скорее прокормит человека, чем земля.

На песчаном берегу во время отлива я мог набрать устриц, наловить крабов и креветок, сварить их... при мысли об устрицах у меня слюнки потекли от удовольствия, я давно уже не едал этого лакомого блюда...

В гротах прибрежных утесов я всегда мог найти себе ночлег. А идти по открытому берегу, видеть перед собой море, дышать его живительным воздухом, слушать шум волн — какая радость после моей жизни пленника в доме дяди. Эти соображения склоняли меня в пользу прибрежного пути; на этом я пока и остановился.

Хотя, конечно, путь этот был более долгий и неверный, большая дорога имела свои преимущества. Когда я отошел три или четыре лье от дома, я решил спуститься с вершины дюн к морю, поискать себе устриц или чего-нибудь на завтрак. К несчастью я их не нашел и должен был удовольствоваться ракушками (мулями). Немного подкрепившись ими, я бодро пошел вперед.

Радость при виде моря заставила меня хоть ненадолго забыть и голод, и одиночество. Я начал петь, бегать по песку, совершенно как птица, выпущенная на волю из клетки; заглядывал во все ямки, размытые водой, собирал раковины и водоросли, гнался за волнами, потом убежал от них. Какое раздолье! Какой простор!

Сосновая доска, которую я нашел среди груды камней, окончательно меня осчастливила. Я стал сооружать себе из нее фрегат с помощью карманного ножа. Ближе к носу просверлил дырку, воткнул в нее палочку, крест-накрест прикрепил другую, связал их ивовыми прутьями, и прикрепил носовой платок в виде паруса.

Таким образом, у меня вышел великолепный фрегат, который я окрестил именем матушки и спустил его плавать в большую лужу.

За этим занятием я почти не заметил, как наступил вечер. Надо было озаботиться ночлегом.

Довольно легко я отыскал себе небольшой грот в скале, который выбили волны во время прилива. Потом я набрал несколько охапок сухих водорослей и устроил из них постель, не очень-то мягкую, но сухую, защищенную от ветра, причем огонь маяка мерцал перед глазами, точно ночник. Своим знакомым светом он придавал мне храбрости среди ночного мрака.

Благодаря его тихому свету я ничего не боялся и уснул так спокойно, убаюканный шумом волн, точно дома у себя на постели. Фрегат положил рядом с собой и ночью видел его во сне: будто я плаваю на своем фрегате по каким-то неведомым странам. Мы потерпели кораблекрушение и очутились на каком-то острове, где на деревьях висели, точно яблоки на яблоне, свежие шести-фунтовые хлебы и поджаристые котлеты. Дикие приняли меня отлично и не только сейчас же накормили, но и сделали своим королем. Вскоре здесь же очутилась матушка и стала королевой, когда мы начинали с ней пить сидр (яблочный квас) и вино, то наши подданные кричали от радости «Король пьет», «Королева пьет».

Голод разбудил меня и прервал мой сон самым обидным образом: он терзал мне все внутренности и даже вызывал тошноту. Но пока прилив не кончится и море не уйдет, я не мог наловить даже мулей, хотя, странное дело, чем больше я их ел, тем больше хотелось есть; я ни о чем так не мечтал теперь, как о куске, хотя бы черствого хлеба, чтобы съесть его вместе с мулями.

Не думайте, чтобы я был такой обжора, который только и думал об еде. У меня был просто хороший, здоровый аппетит, как у всех детей моего возраста. Но за последнее время у дяди я привык голодать, это мне очень пригодилось в настоящем, только тут уже дело было совсем плохое. Это был не тот голод, который испытывают люди, садясь за стол несколькими часами позже обыкновенного часа. Они и представления не имеют о том настоящем голоде, когда человек готов грызть древесную корку, всякую дрянь, только бы чем-нибудь наполнить себе желудок.

Люди, испытавшие такие мучения, меня поймут.

Место, где я провел ночь, было удобно во многих отношениях: и для ловли устриц и для плавания фрегата, но оставаться тут дольше не приходилось, голод заставлял идти вперед в надежде найти хоть что-нибудь посытнее устриц и мулей.

Я сложил снасти фрегата и паруса в карман, а фрегат взял под мышку, на прощанье дал этому гостеприимному гроту название «Грот Короля» и пошел вдоль дюны. На пути мне встретилась речонка, да такая глубокая, что пришлось переправляться через нее раздетым, а узел с платьем нести на голове.

Эта неожиданная холодная ванна еще более ослабила меня и усилила аппетит. Колени мои дрожали, в глазах темнело и голова кружилась. В таком состоянии я добрался до небольшой деревни. Переходя через площадь возле церкви, я встретил целую толпу школьников.

Они с любопытством окружили меня и стали без церемоний рассматривать, как заморского зверя. И то сказать, я представлял собой довольно странную фигуру: одетый в пыльное платье, с взъерошенными волосами, с узелком в руках и фрегатом под мышкой! Особенно их заинтересовал фрегат!

— Что это у него, музыка? — спросил один из школьников.

— Это, верно, савояр! — заметил другой.

— А где же у него сурок или собачонка?

— Собачонки нет! — заметили другие и начали меня дергать за платье.

— Это мой фрегат! — сказал я с досадой, стараясь растолкать толпу и убежать от них.

— Это фрегат! Ну не дурак ли ты! Какой, подумаешь, моряк выискался! — с этими словами мальчики начали хохотать, галдеть, вертеться вокруг меня... Один стащил мою фуражку и подбросил ее на воздух, другой пробовал отнять фрегат; я отбивался кулаками от пристававших нахалов, схватил налету фуражку, нахлобучил ее на голову, сжав кулаки, чтобы проучить самых назойливых, в это время из церкви раздался крестильный звон, и вся толпа детей бросилась к паперти, увлекая за собой и меня.

Из дверей выходила процессия. Впереди несли ребеночка, позади которого шли кум и кума. Кум — пожилой и почтенный с виду господин — брал из мешка горстями гостинцы и бросал их детям, которые бросались подбирать гостинцы и при этом прыгали и визжали от радости.

Раньше, чем окончилась свалка за гостинцы, кум бросил вторую горсть, причем вместе с конфетами полетели на землю и монеты, медные и серебряные. Одна из них покатила прямо мне под ноги; я бросился ее поднимать, это была монета в 10 су, за ней вторая, но раньше, чем я схватил ее, дети закричали:

— Не давать ему, он чужой, бродяга, Бог знает, откуда его принесло, не смей трогать! Они бросились отнимать у меня монету.

К великому счастью, новая горсть монет и гостинцев отвлекла их на минуту от меня, а я, зажав в кулак свое сокровище, бросился бежать от них без оглядки в другую сторону.

При входе в деревню я заметил, где была булочная, а потому направился прямехонько

туда.

Я спросил себе фунт хлеба. У меня оказалось целых 12 су! Булочница дала мне сдачи 9 су и я, не помня себя от радости, вышел за околицу и в одну минуту съел весь хлеб.

Можете себе представить, до чего я был счастлив, утолив, наконец, голод. Потом я посидел, отдохнул, еще прошел около двух часов, пока не добрался до полуразрушенной сторожевой будки. В ней никого не было, и я мог отлично выспаться ночью. Однако же сон мой, несмотря на это «роскошное» помещение, был очень тревожный.

Я не раз слышал, что «богатым людям плохо спится», справедливость этого изречения на этот раз я испытал на себе.

Постель у меня была отличная, потому что я мог набрать на лугу мягкого душистого сена, принести его в будку сколько угодно, а я лежал и все думал, думал о том, что мне делать с моими деньгами? Как благоразумнее и лучше распорядиться ими? Могло случиться, что подобная счастливая случайность не повторится второй раз, и до Гавра у меня не будет ни гроша. Поэтому надо было быть очень осторожным и основательно взвесить все pro и contra раз принятого решения.

За один фунт хлеба я заплатил три су, значит, у меня оставалось целых девять.

Надо было решить важный вопрос: оставить ли эти деньги у себя и питаться на них трое суток, или же, наоборот, немедленно израсходовать их на покупку необходимых предметов, с помощью которых я мог бы прокормить себя в продолжение всего остающегося пути. Мысль об этом промучила меня всю ночь.

Я рассуждал так: если бы вчера у меня была кастрюлька, в которой я мог бы сварить пойманную рыбу и крабов, я бы не страдал так сильно от голода; а если бы при этом у меня была еще маленькая сетка, хотя бы с половину носового платка, то я тогда мог бы наловить в нее креветок и рыбы. Это последнее соображение взяло, наконец, перевес, я решил в первой же деревне, которая встретится мне на пути, купить коробочку спичек за один су, на три су бечевки, а остальные деньги употребить на покупку жестяной кастрюльки. Должен откровенно сознаться, что не только одно благоразумие руководило мною в этом вопросе; главным образом, мне хотелось иметь бечевку. Ивовые прутья не могли выдержать сравнения с бечевкой для снастей моего фрегата. На три су мне совершенно достаточно будет, чтобы укрепить снасти, остального хватит на сетку для сачка.

Поэтому я начал с покупки бечевки, а потом купил спичек; приобрести же кастрюльку было не так-то легко, самая дешевенькая стоила пятнадцать су! К счастью, в углу лавки я заметил одну погнувшуюся и, очевидно, брошенную за ненадобностью. Когда я спросил, продается ли она, лавочница с улыбкой ответила, что, так и быть, она отдаст мне ее за пять су.

В этот день я прошел еще меньше, чем накануне, потому что, как только нашел укромное местечко, так начал сооружать снасти для фрегата и сетку для сачка.

С детства эта работа была мне знакома, а потому и не представляла ни малейшего затруднения. В обед я уже успел наловить креветок своей новой сеткой и сварить их в новой кастрюльке на огне, который я развел с помощью собранной кучки хвороста. Но тут со мной чуть было не случилось беды: дым от костра, поднимаясь вверх, достиг вершины дюны и привлек внимание таможенного сторожа. Я видел, как он нагнулся с утеса и смотрел вниз, стараясь отыскать причину дыма; потом отошел, не сказав мне ни слова, но к вечеру, когда я пришел на это же место, чтобы устроить себе ночлег, я снова увидел его, и то, что он наблюдает за мной очень внимательно меня встревожило.

Уж не принял ли он меня за контрабандиста! Я сам сознавал, что по виду похож на бродягу, со сломанной кастрюлькой за спиной и фрегатом под мышкой. Уже не раз я видел, как в деревне встречные поселяне смотрели на меня вопросительно, и если не остановили меня до сих пор, то, верно, потому только, что я опускал голову и чуть не бегом пускался от них удирать. Если вдруг этому таможеннику вздумается допрашивать меня, а потом и остановить...

При этой мысли меня охватил невыразимый страх, я поспешил переменить

направление и свернул на первую же дорогу, чтобы уйти от морского берега в поля, в глубь равнины. Тогда я в безопасности от его преследований, он не имеет права покинуть свой пост на берегу.

В полях я мог не бояться дозорных, зато не мог так легко найти себе ночлег, как в углублениях дюны, а потому пришлось расположиться на ночь в чистом поле. Самое обидное было то, что кругом не было ни деревьев, ни кустарников. Вдали виднелись, правда, несколько стогов скошенного сена.

Мне предстояло теперь провести такую же ночь, как в росистых лугах Доля. Но здесь было суше. На поле кто-то забыл вилы, я устроил себе с помощью их треножник, набросал сверху несколько охапок сухого сена (оно так славно пахло медуницей!) и устроил себе из него постель душистую, теплую и мягкую. Чтобы косари меня не застали здесь на заре, я проснулся еще до восхода солнца, вместе с птицами. Было очень трудно встать под утро; ночная свежесть так сильно чувствовалась, спать хотелось до того, что глаза сами слипались, а ноги точно оцепенели! Но боязнь быть застигнутым чужими людьми превозмогла все остальное: я бодро вскочил, решив в уме выспаться где-нибудь днем, в другом месте, и снова повернул к берегу. Сегодня попытаю счастья, пойду ловить себе на завтрак и на обед все, что море, уходя, оставит на песке.

Прилив окончился в 8 часов утра, а потому я не мог рассчитывать поесть раньше полудня, и то приходилось довольствоваться одними крабами, которых можно было наловить тотчас же, как уйдет вода. Чтобы не подвергаться на будущее время такому долгому воздержанию, я решил всегда иметь в запасе хоть немного провизии. На этот раз мне повезло. Я поймал довольно большое количество того сорта креветок, которые особенно ценятся в городах, кроме них еще три штуки палтусов и одну камбалу.

В то время, как я искал удобного места, где можно было сварить себе рыбу, я неожиданно встретил даму с двумя девочками.

Дама и дети искали ракушек в песке, разрывая его деревянной лопаточкой. Увидев меня с сеткой, в которой я нес свой улов, они подошли поближе, и дама, ласково улыбнувшись, спросила:

— Много ли ты наловил рыбы, мальчуган, покажи-ка свою сетку?

Я несмело подошел, но робость моя рассеялась, когда я увидел, какое доброе и приятное лицо было у этой пожилой дамы. Она заговорила со мной так приветливо! Еще никто за все это время так ласково не говорил со мной. Белокурые девочки показались мне такими же прекрасными и добрыми, как их мать. Поэтому и я в первый раз не испугался и не бросился от них бежать.

— Да, сударыня, я поймал на этот раз довольно много, — ответил я, раскрывая сетку, в которой плескалась пойманная рыба.

— Не хочешь ли продать мне твой улов? — спросила дама.

Можете себе представить, до чего я обрадовался такому предложению; булки по двенадцати фунтов завертелись у меня перед глазами, мне показалось, что я слышу запах теплого хлеба.

— Сколько же ты хочешь, милый мой, за все?

— Десять су, — ответил я на всякий случай.

— Десять су, только-то! Так мало! Когда одна твоя рыба стоит, по крайней мере, сорок су. Ты сам не знаешь, дитя мое, цены своему товару, значит, ты не рыбак?

— Нет, сударыня.

— Ну, если ты для своего удовольствия занимаешься рыбной ловлей, то вот тебе сорок су за рыбу, а другие сорок возьми за все остальное. Что же ты молчишь, согласен? — с этими словами она протянула мне с ласковой улыбкой две серебряные монеты.

Такая роскошная плата превосходила всякое воображение, я не верил своим глазам и был так поражен, что онемел от радости.

— Ну, бери же, голубчик, — сказала она, не зная, как объяснить мое молчание, — ты можешь купить себе на эти деньги что-нибудь такое, что доставит тебе удовольствие...

Она положила мне в руку четыре франка, а девочка сейчас же высыпала из моего сачка креветок и рыбу в свою корзинку.

Четыре франка! Когда эти прекрасные дамы отошли немного и повернулись ко мне спиной, я стал скакать и прыгать от восторга, как сумасшедший, все еще сомневаясь — не во сне ли это я видел.

Четыре франка! Такое невероятное богатство!

За четверть лье до этого места виднелись первые дома ближайшего местечка. Я прямо пошел туда с намерением сейчас же купить двух-фунтовый хлеб.

Куда девался мой страх? Мне казалось, что я больше никого не боюсь: ни жандармов, ни полевых сторожей, ни таможенных. А если бы я встретил кого либо из них, и они стали бы меня расспрашивать, я покажу им вместо всякого ответа мои четыре франка.

— Дайте дорогу, — сказал бы я им, — вы видите, сколько у меня денег.

Но я не встретил ни жандарма, ни дозорного, зато не мог найти ни одной булочной. Я два раза прошелся по главной улице, на которой была кофейная, постоянный двор и бакалейная лавка, но, увы, ни одной лавки, где бы продавали хлеб. Вот незадача! Но деньги весело позванивали в кармане моих панталон, и я мечтал, какое это будет наслаждение, досыта поесть, поэтому, скрепя сердце решил пойти в трактир. Хозяйка стояла у порога, я спросил, нельзя ли купить у нее хлеба.

— У нас не булочная, — сурово ответила она, — хлеба мы не продаем, но если ты голоден, то можешь здесь пообедать.

Через полуоткрытую дверь кухни доносился до меня аппетитный запах тушеной капусты, и я видел, как суп весело кипел на огне. Я все время мучительно хотел есть, а теперь у меня от желания дух занялся.

— Сколько же у вас стоит обед?

— За порцию супа, капусту с салом и хлеб — тридцать су, вместе с сидром (яблочный квас).

Это была страшно дорогая цена, но если бы она в эту минуту запросила все четыре франка, то я и тут не мог бы воздержаться, и, наверное, отдал бы их ей. Я уселся за столом в низенькой зале, и мне принесли краюху хлеба весом не меньше трех фунтов.

Эта краюха меня сгубила. Сало было такое вкусное, вместо того, чтобы есть его вилок, я нарезал длинными ломтями и разложил на хлеб, а ломти были непомерной толщины, тогда мне казалось это самым главным их качеством.

Сначала я проглотил один кусок, потом второй, третий. Боже, до чего это было вкусно! Краюшка хлеба сильно уменьшилась. Я отрезал еще кусок, на этот раз самый большой, мне казалось, что это будет уже последний. Но, покончив с ним, у меня оставалось еще немного сала; я снова принялся за хлеб, так что от него осталась одна тоненькая горбушка.

Но для меня это был единственный в своем роде случай; надо было хорошенько им воспользоваться.

Я так занялся едой, что забыл весь мир и то, что в зале, кроме меня, еще находились люди. Взрывы смеха и несколько неясных восклицаний заставили меня обернуться к двери; позади нее за стеклом, у приподнятой занавески стояли хозяйка харчевни, ее муж и служанка. Они с удивленным любопытством смотрели на меня, переглядывались и хохотали.

Я страшно был сконфужен, потому что понял причину их смеха.

— Хорошо ли ты пообедал? — спросила трактирщица, когда я кончил. — Не хочешь ли съесть еще чего-нибудь? — прибавила она с насмешкой.

Я страшно сконфузился и, ничего не отвечая, торопился уйти, протягивая ей монету в сорок су.

— Для человека обыкновенного наш обед стоит тридцать су, но для такого обжоры как ты, все сорок, и с этими словами она не дала мне сдачи, а на пороге еще закричала мне вслед: — Смотри же, чтобы тебя дорогой не разорвало, не иди скоро, а то лопнешь.

Несмотря на этот добрый совет, я начал удирать во все лопатки, и, только отбежав на порядочное расстояние, замедлил шаг.

Мне было стыдно перед самим собой, что за один раз я истратил половину своего состояния, зато физически я чувствовал себя превосходно, со дня своего побега из Доля у меня ни разу не было такого прилива сил и уверенности в себе. Чего же лучше — я роскошно пообедал, да еще осталось про запас сорок су; мне казалось, что теперь бояться за будущее нечего...

Если я буду экономно тратить остальные деньги, то мое пропитание до Гавра обеспечено. Я решил покинуть морской берег и пойти по прежде намеченному пути через Кальвадос. Одно меня пугало, я не знал хорошенько того, где же я находился в настоящую минуту?

По дороге попадалось несколько деревень и даже два городка, но имени их я не знал.

На почтовой дороге названия пишутся на столбах, но так как я шел больше по морскому берегу, то совсем не мог сообразить, где Кальвадос.

Расспрашивать местных жителей я боялся, справедливо рассуждая, что пока я имею вид человека, идущего в известное мне место и за известным мне делом, никто меня не остановит, тогда как малейшее подозрение, что я беглец, иду куда глаза глядят, может наделать мне страшных бед.

Я очень живо представлял себе карту департамента Ла-Манша и знал, что если он образует выступ в море, то, удаляясь от побережья в глубь страны, надо взять направление к востоку.

Мне предстояло решить: куда повернуть — на Изиньи или на Вир? В направлении Изиньи я не буду удаляться от берега, следовательно, могу кормиться рыбной ловлей.

Дорога в Вир, хотя ближайшая, идет от моря, и что я буду делать, когда истрачу все деньги? Я чувствовал, что решить правильно этот вопрос было очень важно. Долго я колебался, что лучше. Желание поскорее добраться до Гавра взяло вверх и я пошел на Вир, то есть пошел прямо от моря к большой дороге. Вскоре мне попался столб, наверху которого находилась дощечка с надписью Кетвиль, 3 километра. То есть, пройдя эти три километра, я приду в деревушку Кетвиль.

При входе в нее я прочитал новую надпись белыми буквами на голубом поле: «Почтовая дорога Ла-Манш № 9», из Кетвиля до Галиньера пять километров. Так как я не помнил на карте этих двух имен, то и не мог сообразить хорошенько, где же я, и далеко ли до Вира? Я прошел через всю деревню Кетвиль, и, выйдя за околицу, присел на камне у распятия из гранита, стоящего на перекрестке четырех дорог, на самой верхушке холма¹). У подножия его расстилалась широкая равнина, на которой мелькали кое-где деревни и церкви со своими высокими колокольнями. Надо было снова решить, по какой дороге идти дальше? На краю горизонта еще виднелась голубоватая линия моря.

Я шел без отдыха с самого утра, а теперь был полдень, самое жаркое время дня. Облокотившись на каменную ступеньку, чтобы еще раз хорошенько обо всем подумать, я незаметно для самого себя крепко заснул.

Когда я проснулся, то почувствовал, что на меня пристально глядят два чьих-то глаза, и в то же время незнакомый голос быстро проговорил: «Не шевелись, лежи смирно». Конечно, я и не подумал послушаться, а вскочив на ноги, стал озираться со страхом кругом, намереваясь тотчас же задать тягу.

Голос, который с первого раза показался мне мягким и приятным, повторил, но уже с раздражением:

— Я тебе говорю, ляг на прежнее место, ты в моем этюде изображаешь необходимую фигуру. Если ты послушаешься и полежишь спокойно еще несколько минут, я дам тебе десять су.

Я тотчас же послушно сел на прежнее место. Незнакомец сразу мне понравился. Это

¹ Такие распятия — железные кресты на гранитном постаменте, часто встречаются в глубине Нормандии и Бретани

был высокий молодой человек в мягкой фетровой шляпе с широкими полями, одетый в серую бархатную куртку; он сидел на куче придорожных камней и рисовал что-то в походный альбом, раскрытый у него на коленях. Я понял, что он рисует меня, или, вернее, крест с распятием на вершине утеса, а на ступеньках мою спящую особу.

— Ты можешь теперь не закрывать больше глаз и говорить со мной, потому что я кончил рисовать лицо. Как называется местечко, где мы сидим?

— Я и сам не знаю, сударь.

— Как, ты разве не здешний? Ты лудильщик, что ли?

Я невольно рассмеялся.

— Пожалуйста, не хохочи, если ты не чинишь кастрюль, то зачем у тебя прицеплена на спине кастрюля вместе с сеткой?

Вот оно, начались расспросы, которых я так боялся. Но живописец имел вид человека, самого добродушного в мире, и я сразу почувствовал к нему полное доверие, а потому и решился наконец облегчить свою душу и сразу рассказал ему всю правду.

— Я иду в Гавр, в кастрюльке я варю себе пищу, уже восемь дней нахожусь в пути, а в кармане у меня есть 40 су.

— Как это ты решаешься рассказывать, что у тебя в кармане столько денег? Ты, я вижу, храбрый паренек и не боишься разбойников.

Я снова рассмеялся при мысли о разбойниках.

Продолжая рисовать, он задавал мне вопросы, ласково шутил со мной, а я, сам не замечая, рассказал ему всю свою жизнь до момента нашей встречи.

— Ты, во всяком случае, любопытный мальчик, и хотя начал с того, что наделал больших глупостей, но зато сумел кое-как вывернуться из беды. За это тебе стоит помочь. Я люблю людей твоего сорта, а потому будем с тобой отныне друзьями.

Вот что я тебе предложу: мне также надо идти в Гавр, но я иду туда, не торопясь, и буду на месте не ранее чем через месяц, хотя продолжительность пути будет зависеть от красоты местностей, которые мне повстречаются на пути. Если мне очень понравится где-нибудь, то я остановлюсь и буду работать, а то буду проходить мимо и потихоньку двигаться вперед. Пойдем вместе. Ты поможешь мне нести сумку, а я за это буду давать тебе пропитание и ночлег.

Когда я рассказал ему о моем житье у дяди и о своем побеге, он воскликнул с комическим ужасом:

— Однако же дядюшка твой — большая скотина! Не хочешь ли ты вернуться вместе со мною в Доль? Ты мне его покажи, а я нарисую его карикатуры на всех улицах и подпишу внизу «Портрет Симона Кальбри, который чуть не уморил с голоду родного племянника». Через две недели ему придется бежать из города от насмешек!

— Нет, ты этого не хочешь, у тебя нет желания еще раз с ним повидаться! Ты прав, пожалуй так будет лучше и вернее. Но в твоем рассказе есть один пункт, о котором необходимо подумать. Ты непременно хочешь идти в моряки, пусть так, хотя, по-моему, это ничего не стоящее дело, вечная опасность, усталость, жизнь вдали от родины и от семьи и ничего больше... Но тебя привлекает в ней романтическая сторона, твоя неугомонная натура и фантазия влекут тебя от обыденной серенькой жизни. Хорошо, я не буду тебя отговаривать, если эта жизнь тебе по душе. Кроме того, тебя манит свобода и независимость от родных: пожалуй, что после тех испытаний, какие заставил тебя перенести твой достойный дядюшка, ты имеешь на это некоторое право... Но ты не имеешь никакого права жестоко огорчать твою мать и доводить ее до отчаяния.

Уже восемь дней прошло с тех пор, как дядя мог ей дать знать о твоём побеге. Как ты не подумаешь о том, сколько горя наделало ей это известие, в какое отчаяние она могла придти, ничего не зная о тебе и даже не имея понятия о том, жив ты или умер, где ты очутился без хлеба, без денег, один-одинешенек!

Поэтому ты сию же минуту вынь из моего дорожного мешка бумагу, конверт и чернила и, пока я набросаю эскиз этой мельницы, напиши твоей маме обо всех своих приключениях,

а также о тех причинах, которые заставили тебя бежать куда глаза глядят. Ты прибавишь еще, что случай, да, ты можешь прибавить это, что счастливый случай свел тебя с живописцем Луцианом Гарделем. Что этот живописец берет тебя под свое покровительство, доведет до Гавра и там сдаст тебя с рук на руки одному своему знакомому, капитану корабля, чтобы под его руководством ты начал плавать в море. Когда ты пошлешь это письмо, Ромен, ты увидишь, как легко станет у тебя на душе!

Г. Гардель был прав. Пока я писал письмо матушке и обливался при этом горячими слезами, мне было очень горько, но зато, окончив письмо, я сразу почувствовал себя так легко, точно гора свалилась у меня с плеч.

Те дни, которые я провел вместе с Луцианом Гарделем, остались навсегда счастливейшими днями моей жизни.

Мы шли вперед без всякого определенного маршрута; иногда останавливались на целый день перед каким-нибудь красивым или оригинальным деревцем, с которого он писал этюд, а иногда шли весь день почти без передышки.

Я нес его дорожный мешок. В нем было немного весу, и я пристегивал его ремнем на спину, как солдатский ранец; хотя часто в дороге он нес его поочередно со мною. На мне лежала обязанность покупать провизию.

Сытые люди не могут понять, какое это было удовольствие после нескольких месяцев голодовки есть вволю хлеба, яиц, ветчины и тому подобных прелестей и запивать все это водой пополам с вином. Мы завтракали иногда на краю дороги, иногда под деревом, а вечером почти всегда до захода солнца приходили в деревню на постоянный двор ужинать и ночевать.

На ужин нам давали отличный горячий суп, а спали мы на мягкой удобной постели, покрытой чистой простыней, совершенно раздевшись. Это было какое-то блаженство после ночлегов в поле и на морском берегу, с камнями в головах вместо мягких подушек. Всякий вечер, сладко засыпая, я не знал, как мне благодарить Бога за эту перемену в моей судьбе!

Художник был удивлен теми небольшими познаниями, которые я приобрел у г. Бигореля, и которые обыкновенно совсем неизвестны крестьянским детям. Природу я знал лучше его самого, т. е. все, что касалось жизни деревьев, насекомых, трав, названия которых даже редко кто знает, кроме натуралистов, я тоже их хорошо запомнил. Поэтому у нас с ним всегда было о чем поговорить. Он, в свою очередь, рассказал мне много интересного про жизнь художников в Париже. Более простого, доброго и веселого человека трудно было найти.

Продвигаясь таким образом все вперед и вперед, мы незаметно дошли до Мортена, что не совсем было по пути в Гавр, но я уже об этом так не заботился, как прежде, уверенный на этот раз, что мы благополучно доберемся до него, и что рано или поздно, я буду иметь возможность уехать на одном из больших кораблей, отправляющихся в Бразилию.

Местность близ Мортена справедливо считается одной из самых красивых во всей Нормандии. Поэтому она охотно посещается художниками. На каждом шагу встречаются живописные местечки. Повсюду видны темные сосновые и лиственные леса, холмы, ущелья, небольшие водопады, группы скал или же ручьи и ключи чистой, как кристалл, воды, бегущие к морю.

Не останавливаясь в каком-нибудь определенном месте, мы бродили вокруг Мортена, перебираясь не спеша с одного места на другое. Дорога шла на Дождфрон, Сурдваль, Сент-Гилер и Тилель. Пока Гардель рисовал свои пейзажи, я спускался к морю и ловил устриц и крабов на ужин.

Очевидно, это безоблачное счастье не могло долго продолжаться: иначе это было бы не искупление за мою вину перед матерью, а награда.

Однажды утром, когда каждый из нас занимался своим делом, мы увидели подходящего жандарма. Издали он казался довольно неуклюжим, и видно было, что он с трудом поворачивался в своем мундире.

Л. Гардель был по природе своей юморист и не мог равнодушно видеть комических

черт как в людях, так и в вещах, поэтому он тотчас же подмигнул мне на жандарма, а через минуту голова жандарма уже была занесена на листок альбома, причем ясно были утрированы смешные особенности его фигуры.

Жандарм увидел, что мы очень внимательно рассматриваем его и смеемся, подошел к нам поближе, поправил треуголку на рыжих волосах, погремел на ходу своей саблей, важно выступая, точно индийский петух.

Карандаш живо схватил и эту походку. Я не мог при этом удержаться от громкого смеха. Моя, веселость, очевидно не понравилась жандарму, он насупился и пошел прямо на нас.

— Прошу извинить, — проговорил он с мрачной важностью, — вы меня достаточно долго рассматривали, а теперь я хочу посмотреть, что вы за люди?

— Чудесное дело, г. жандарм, — ответил, насмешливо улыбаясь, Гардель, припрятывая картон с рисунком в альбом, — не стесняйтесь пожалуйста, мы внимательно разглядывали вашу особу, а теперь вы можете сделать совершенно то же самое относительно нас с Роменом, и тогда мы будем квиты.

— Нечего вилять, вы отлично понимаете, что я говорю про ваши паспорта, а не про что иное, моя обязанность их спросить, когда я вижу, что люди шатаются без дела по большим дорогам.

Ничего не отвечая жандарму, Луциан обратился ко мне:

— Ромен, возьми у меня в мешке паспорт, в том отделении, где табак, и покажи его вежливенько г. жандарму. Из уважения к вашему высокому званию я бы хотел подать вам его на серебряном блюде, но в дороге, вы сами знаете, не все можно иметь, по этой же причине и Ромен без белых перчаток, но так как и у вас их нет, то это еще не большая беда.

Жандарм сначала слушал с разинутым ртом эту речь, но затем понял, что над ним издеваются; тогда он разозлился, покраснел, как вареный рак, закусил губы, нахлобучил шляпу и с напускной важностью принялся читать: «Мы, нижеподписавшиеся власти гражданские и военные, выдали для свободного проезда и прожития Г-ну Люс... Люс... по профессии, по профессии...», — здесь жандарм запнулся и в смущении остановился, очевидно, разобрать дальше ему было не под силу. «По профессии», — снова начал он, — «художник-пассажист», — прочитал он вместо *peintre paysagiste*. Проворчав что-то сквозь зубы, он протянул бумагу обратно. — Хорошо, все в порядке, вы можете идти.

Когда он уже повернул нам спину, неугомонный Луциан со своей страстью все высучивать погубил меня.

— Извините, г. блюститель общественной безопасности, вы проглядели в моем паспорте самое главное, единственно, за что я заплатил беспрекословно два франка.

— Что же это? — повернулся жандарм.

— А именно то, что вы обязаны оказывать мне помощь и покровительство.

— Ну так что из этого?

— Я прошу вас сказать мне, в качестве кого я могу проходить по большим дорогам?

— В качестве такого лица, какое обозначено у вас в паспорте.

— То есть, значит я называюсь пассажист?

— Ну, известное дело, если это и есть ваше занятие.

— А вы мне скажите, что позволено и что запрещено в моей профессии?

— Вот еще новости, разве я обязан учить вас вашему ремеслу?

— Я-то свое ремесло знаю, а вот что такое пассажист, это я прошу вас мне объяснить.

— Для чего я буду объяснять вам то, что вы сами знать должны, — ответил сбитый с толку жандарм.

— А вот для чего, через два-три лье ко мне снова привяжется ваш брат жандарм и опять спросит у меня паспорт, я как раз в эту минуту буду занят чем-нибудь важным и это мне помешает. Как мне тогда быть? А я не буду знать, что можно и чего нельзя делать пассажисту.

Крупные капли пота потекли по красному лицу жандарма, он опять ясно понял, что

художник над ним смеется и что он сказал какую-то большую глупость. Тогда он разозлился не на шутку.

— Долго ли вы еще будете приставать ко мне с вашими глупыми шутками, — закричал он взбешенный. — Довольно, этому пора положить конец. Если ваша профессия на самом деле такова, как означено в паспорте, тут дело не чисто, и я должен вас арестовать, идите за мной и объясните сами г. мэру, кто вы такое, а этот, — сказал он, указывая на меня, — что еще за птица, об нем в паспорте ничего не сказано? Вот мы сейчас все это разберем и узнаем правду, откуда он и куда идет?

— Так вы арестуете меня в качестве пассажира?

— Я не должен вам давать ответа, почему и как, арестую и все тут. Повинуйтесь добровольно, или я буду принужден обнажить оружие.

— Когда так, идем. Если г. мэр такой же умный человек, как вы, то это доставит мне большое развлечение. Пойдем, Ромен, бери мешок. Жандарм!

— Чего вам надо?

— Свяжите мне руки за спину, и саблю наголо. Раз вы принуждаете меня к аресту без всякого повода, то действуйте по правилам, черт возьми!

У меня в это время душа ушла в пятки от страха. И зачем это Гардель затеял историю с полицией? Слова жандарма: а этот мальчишка не значится в паспорте, там узнают, откуда он и кто? — раздавались в моих ушах похоронным звоном моему счастливому житью. Все кончено. Мэр допытается, кто я, меня задержат и отошлют к дяде в Доль.

Пока эта мысль, как страшный призрак, стояла перед моими глазами, Луциан весело распевал, идя вслед за жандармом: «бедный узник, увы, которого ведут на виселицу». Жандарм шел следом за ним на расстоянии аршина, а я шел в нескольких шагах от него ни жив, ни мертв. До деревни оставалось не более поллье, и по дороге надо было проходить через небольшой лес. Судьба хотела, чтобы дорога шла прямая, как стрела, чтобы на ней не было видно ни одной живой души. В это время я обдумывал, как спастись от неминуемой беды? Лучше все остальные опасности: и холод, и голод, и одиночество; только бы не дядя! Остается одно-бежать.

Я нес мешок в руках, а не на спине, как всегда; незаметно замедляя шаги, я вдруг со всего размаха швырнул его на землю, перескочил через придорожную канаву и бросился бежать в лес без оглядки.

Шум падения мешка заставил жандарма оглянуться, но я уже был за кустами.

— Стой, держи! — закричал он. — Остановись!

— Не бойся ничего, Ромен, мы посмеемся немного, тем все и кончится.

Но я прокричал ему в ответ одно слово «дядя», и «прощайте», а сам бросился бежать со всех ног. Не знаю, преследовал ли меня жандарм или нет, потому что я бежал без памяти, ничего не видя и не слыша, не чувствуя, как ветки хлестали меня по лицу и колючки рвали мое платье и царапали кожу. Я бежал так безумно, что не видел, как очутился на краю ямы, и со всего размаха полетел в нее.

Глава IX

Несколько минут я лежал растянувшись неподвижно на дне ямы, не потому, чтобы я расшибся, подо мною была куча травы и хвороста, а от страха. Инстинкт зверя, за которым гонятся собаки, руководил мною. Я притаился и едва дышал, боясь пошевелинуться и выдать свое присутствие. Долго я прислушивался, но ничего не слышал, кроме щебетанья птиц над головой, я спугнул их своим падением и они разлетелись во все стороны; да песок со стенок ямы медленно скатывался легкой струей и засыпал меня.

Спустя несколько минут после того, как я убедился, что мне не грозит никакая опасность и враги мои далеко, я немного опомнился.

Вот что я думал: художника могут задержать в мэрии, а меня пошлют разыскивать в лесу, значит, времени терять не приходится, надо намного опередить моих будущих преследователей.

Мысль, что в мэрии художник мог объяснить мое пребывание у него, не упомянув о дяде, не пришла ни разу мне в голову, я был в том страшно возбужденном состоянии духа, когда самые чудовищные и нелепые опасности приходят на ум потому именно, что страх затемняет рассудок. Чтобы не быть схваченным жандармами и отведенным в Доль, я готов был прыгнуть сейчас же в огонь. Я мысленно просил прощения у доброго Луциана Гарделя за то, что покинул его так предательски и самовольно, но разве не его нелепые шутки сделали причиной всех моих настоящих бед и нашей внезапной разлуки!

Через два часа скорой ходьбы я входил в Сурдваль. Боязнь, что меня могут заметить, помешала мне идти через город, я пробирался задами на дорогу к Виру. Хотя усталость умерила немного мое крайнее возбуждение, но я отлично сознавал, что снова начинается моя голодная одинокая жизнь, а идти до Гавра еще далеко! Со мной не было больше моей жестяной кастрюльки и пакета с бельем. Я очутился теперь еще в худшем положении, чем был раньше; в настоящем было одно преимущество — я успел плотно позавтракать и накануне отлично выспался. Но благополучия моего хватит не надолго, а потом пойдут прежние мучения голода, о которых я вспоминал теперь с содроганием.

К этим мрачным мыслям прибавилось еще другого рода беспокойство. Мне теперь всюду чудились жандармы; каждая шапка и даже колпак казались мне треуголкой, и я начинал дрожать, как осиновый лист. Кроме того, мне было очень грустно от разлуки с Гарделем, к которому я искренне привязался за эти три недели.

Воображаемая опасность заставляла меня по крайней мере раз десять убежать с большой дороги и забиваться в кустарники или в придорожные канавы. Перепрыгивая через одну из таких канавок, я услышал звук, точно зазвенели деньги. Я обшарил свои карманы и действительно там на мое счастье в них оказались деньги, я нашел шесть су и две монеты по два франка. Накануне я покупал табак для Луциана и не успел ему отдать сдачу с пяти франков. Мог ли я распорядиться этими деньгами? Все равно сейчас вернуть их было невозможно. Значит я сделаю это потом, а пока возьму их у него взаймы.

Хотя для меня, в моем нищенском существовании, сумма эта представлялась очень значительной, но я испытал уже, как быстро тают деньги. И, размыслив хорошенько обо всем, остановился на следующем плане. Я буду продолжать свою дорогу, ночевать в поле, на сене или же в лесу, как и где придется, а деньги буду тратить только на еду, тогда у меня хватит до Гавра.

Еще засветло я прошел через Вир, но заблудился в улицах, и вместо того, чтобы повернуть направо, повернул налево, и только придя в Шендолен, я увидел свою ошибку. Я довольно ясно представлял себе направление, по которому продвигался, потому что хорошо изучил за это время карту Нормандии и знал, что через Гаркур я мог попасть в Кан, поэтому не особенно горевал от своей ошибки и спокойно уснул, забившись в стог свежего душистого сена.

В шагах трехстах от этого места виднелся шалаш пастуха. Ночной ветер доносил до меня запах тепла и жилья; и я утешался мыслью, что лежу не один в этой необозримой лесистой равнине, но что вблизи живут люди; это подтверждалось лаем собак, они перекликались, почуяв чужого.

Когда я рассказывал Луциану Гарделю подробности моего путешествия по равнине Доля, он считал за чудо, что я не заразился болотной лихорадкой. Поэтому теперь я стал осторожнее, и когда проснулся от утренней прохлады, которая всегда вызывает дрожь в теле, тотчас же вскочил на ноги, хотя заря чуть занималась.

Горизонт едва светлел, и звезды только что стали гаснуть на фоне бледного неба. Клубы белого тумана застилали густым покровом всю равнину. Роса так прибила дорожную пыль, точно сейчас прошел маленький дождик, а на ветвях птички стряхивали капельки росы со своих перьев и начинали понемножку щебетать.

Я чувствовал себя бодрым, пока солнце не начало к полудню сильно припекать. По жаре идти было тяжело, и я подыскивал себе укромное местечко, где можно было безопасно уснуть на несколько часов. А когда к вечеру становилось прохладнее, я снова шел, пока хватало сил. Так прошло два дня.

На третий день, пройдя Гаркур, я подошел к большому Синглесскому лесу. Была середина лета и наступили самые жаркие и душные дни. Даже в лесу было так жарко, что я с трудом мог идти до полудня, а потому решил отдохнуть. Кажется, отроду я так не мучился от жары, как в этот день, солнце жгло мне лицо, раскаленная земля припекала ноги; я повернул в самую чащу леса в надежде, что там будет прохладнее.

Все напрасно, и там воздух был такой же раскаленный, как и на большой дороге, ни один листик в лесу не шевелился; все замерло от духоты, даже птицы и те перестали щебетать; тишина вокруг меня была такая, точно лесная фея коснулась своей палочкой до всего живого, и течение жизни приостановилось. Одни мошки избегли этого заколдованного сна и тучами кружились в воздухе, казалось, нестерпимый жар придавал им особую бодрость. Усевшись под тенью ясеня, я крепко заснул, подложив себе кулак под голову.

Меня разбудил сильный укус в шею, ощутив кожу, я поймал огромного красного муравья, затем меня что-то так же сильно укусило в ногу, в грудь и в разные части тела. Тогда я привскочил, разделся донага и стал трясти платье, из которого посыпался целый муравейник; но боль от укусов не прошла от того, что я вытряс платье. Тело у меня горело от боли, как в огне.

Эти проклятые насекомые, подобно москитам, оставляли свой яд в ранках, и все тело невыносимо чесалось.

Чем больше я его расчесывал, тем становилось больнее; под конец у меня были все ноги в крови. Может быть, вам случалось когда-нибудь видеть стадо овец, искусанных роем мух и оводов, как они катаются по земле и рвут себе кожу об колючки терновника? Вот в таком именно состоянии очутился и я.

Теперь мне казалось, что если бы я мог моментально выбраться из леса, мне стало бы легче. Но дорога шла все лесом, и конца ей не было видно; густые, высокие деревья обступали меня со всех сторон, я шел в температуре раскаленной печи; наконец на лужайке заблестела полоска воды: это речка виднелась между зелеными кустарниками. В десять минут я добежал до нее, в одну секунду разделся и с восторгом погрузился в прохладную воду.

Этот оазис в лесу представлял собой свежий, зеленый и живописный уголок, каких так много встречается в Нормандии. Речка, запруженная шлюзами водяной мельницы, извивалась среди высокой сочной травы, а сквозь прозрачную, как кристалл, воду можно было видеть на ее песчаном чистом дне каждый камушек, каждую травинку. Шум колес один нарушал лесную тишину.

Тенистые группы ольховых и осиновых деревьев глубоко вросли в крутые берега и широко раскинули свои тенистые ветки. Солнце с трудом проникало в их листву и в них укрывалась от жара масса насекомых, которые копошились и жужжали в высокой траве.

На поверхности воды, посреди листьев кувшинки и кресс-салата, бегали водяные пауки — косисено, а в чашечках аконита, ириса и лабазника приютились голубые мухи и стрекозы и блестели на солнце своими кисейными крылышками. Испуганные моим падением в воду, голуби-вяхири взмахнули крыльями и улетели на самую верхушку осины, но вскоре вернулись обратно и опять уселись на бережке. Они опускали головки в воду, чистили перья, носики и ворковали, в то время, как зимородки, более пугливые, летали вокруг, не смея приблизиться, а когда они, как стрела, прорезали солнечные лучи, то их голубое оперенье слепило глаза.

Я бы остался на несколько часов в воде, так приятно она освежала горевшее от укусов тело, если бы не услышал незнакомого человеческого голоса, который послышался с берега, именно с того места, где я разделся.

— Ах ты разбойник этакий, опять я тебя поймал на купанье, ну на этот раз ты

получишь свое платье не иначе, как в мэрии.

Мое платье! Господи, что же это такое, мое платье, которое я оставил на другом берегу реки; я не верил своим ушам...

Вне себя от удивления я смотрел на того, кто говорил мне эти слова. Это был маленький толстый человек; он грозил мне кулаком со стороны большой дороги; на груди, на белой блузе блестела медная бляха.

Маленький человек, не теряя времени, привел в исполнение свою угрозу. Он наклонился, небрежно свернул в узел мое платье и подхватил его под мышку.

— Сударь, постойте, сударь, — закричал я не своим голосом.

— Ладно, в мэрии разберут, кто прав, кто виноват, — отвечал он в ответ на мой отчаянный вопль.

Я хотел выскочить из воды, бежать за ним, умолять его... Но страх перед его желтой бляхой и чувство стыда за свою наготу меня остановили. Это был, конечно, полевой сторож, деревенская полицейская власть, у которого, наверное, есть сабля, и он может меня арестовать, а потом пойдут вопросы, которых я так панически боялся со времени ареста Луциана Гарделя.

Маленький человек удалялся и уносил узел с моим платьем, все продолжая грозить мне кулаком.

— Ты объяснишь все в мэрии, — повторил он еще раз, и быстро скрылся за деревьями.

Я оцепенел от страха до того, что на минуту потерял всякое соображение, непроизвольно нырнул в воду и подумал, что иду ко дну, однако кое как выбрался на поверхность воды, доплыл до берега и, не помня себя от стыда, спрятался в прибрежных кустах. Длинные, гибкие ветви ивы окружили меня со всех сторон и хоть на время закрыли от всего окружающего.

Тем не менее я живо сообразил всю отчаянную безысходность своего положения. Как я мог решиться идти в мэрию за своим платьем? Да еще где она, эта мэрия? Без сомнения, в деревне, где-нибудь поблизости, хотя где именно, я все же не знал. Да и как в таком виде я мог бы рискнуть пойти туда, где есть люди.

Конечно, все это очень походило на приключения Робинзона на необитаемом острове, и с этой стороны могло вполне меня удовлетворить, но в книгах подобные положения переносятся много легче, чем в действительности.

С тех пор как я покинул Доль, мне не приходилось еще переживать ничего подобного. Были тяжелые положения, но всегда был какой-нибудь выход. А теперь? Мне казалось, что и Бог и люди окончательно меня покинули, что пришел мой конец и мне остается только умереть.

Я плакал долго и горько, до тех пор, пока от холода не мог зуб на зуб попасть. Я страшно озяб в тени влажной зелени. В двухстах шагах от меня солнце ярко освещало откос, и на сухом песке я мог бы обогреться, но так велик был мой страх, что я не смел пошевеливаться и выйти из мокрых кустов ивняка.

Наконец, я больше не мог бороться с холодом и бросился снова в воду, переплыл на другой берег и вышел на откос. Он подымался в этом месте метра на два над водой, его подмыло снизу, и с вершины его вплоть до воды спускался каскадом зеленый хмель и листья голубых колокольчиков вьюнков. Мне поэтому довольно трудно было взобраться наверх.

Солнце зато живо меня согрело, а вместе с теплом вернулись жажда жизни и чувство страшного голода. Но чем я мог его утолить в моем отчаянном положении? Вместе с платьем сторож унес и мои скудные капиталы.

Между тем время проходило, а я решительно ничего не мог придумать; прошло еще около часа, как вдруг недалеко от меня, на проезжей дороге, я услышал стук проезжавших телег. Очевидно, едут люди, которые могут мне помочь, но как выбраться на большую дорогу в голом виде? Мысль прикрыться листьями и ветками не пришла мне еще в голову.

Между тем солнце начинало склоняться к западу, и скоро должна была наступить ночь. Что делать, если она застанет меня одного, голого, на этом песчаном откосе? Я так ослабел,

что перед глазами быстро текущая вода вызывала у меня головокружение; мне казалось, что все ночные звери и птицы должны будут на меня наброситься. Ночи, проведенные на лугах Доля, показались мне теперь раем сравнительно с тем, что ожидало меня впереди. Оставался всего какой-нибудь час до солнечного заката.

Шум колес послышался яснее, ближе, затем вдруг прекратился. Очевидно, телеги остановились, и совсем близко от меня. Со своего откоса я не мог видеть, что происходило у дороги, но по звукам понял, что распрягали лошадей и располагались на ночлег. В воздухе неожиданно раздался страшный рев, или рычание, во всяком случае звуки, доселе мне неизвестные. Лошадь не могла заржать так свирепо, тем более осел. Птицы, уже уснувшие на ветках деревьев, с шумом разлетелись во все стороны, разбуженные этим незнакомым и страшным звуком; даже большая летучая мышь шарахнулась в сторону и задела меня своим серым крылом, а жаба выпрыгнула из-под моих ног и забилась в соседнюю нору.

Прошло еще несколько минут, мне послышались над откосом, т. е. надо мною, со стороны дороги чьи-то шаги. Оказалось, я не ошибся: по росистому лугу шли и говорили между собою двое каких-то людей.

— А я курицу стибрил, — сказал один голос.

— Каким образом? — спросил другой.

— Навязал камень на кнут и подшиб ей ноги, а потом взял как рыбу руками, зато остальные страшно раскудахтались.

— Хорошо бы нам ее сварить.

— Только бы не увидал Кабриоль, а то отберет себе, а нам оставит одни кости.

Нельзя сказать, чтобы подобный разговор обещал что-нибудь хорошее. Но зато я с отчаянной отвагой решил, что с такими людьми и мне не страшно заговорить...

Я выкарабкался из-под откоса и, держась обеими руками за кучку камней, высунул голову из-за зелени настолько, чтобы увидеть все, что происходило на лужке и на краю дороги.

Два собеседника, которых по хриплым голосам я принял за взрослых, оказались мальчиками приблизительно моих лет. Это обстоятельство еще более придало мне смелости.

— Позвольте вас спросить, — начал я дрожащим от волнения голосом.

Они обернулись и сначала не заметили, откуда раздался мой голос, потому что одна только голова моя виднелась на фоне хмелевых листьев. В первый момент они испугались моего голоса и в нерешимости остановились, не зная, идти им вперед или же удирать.

— Ах, это вот кто говорит, — голова, — сказал один из них, указывая на меня и заливаясь смехом.

— А может быть это утопленник, — возразил его товарищ.

— Дурак! Разве не слышишь, он говорит.

В эту минуту со стороны большой дороги раздался сердитый голос.

— Бездельники, скоро ли вы нарвете мне травы?

Я повернулся к большой дороге и увидел три длинных повозки, выкрашенных в желтую и красную краску. Очевидно, это была странствующая группа акробатов.

— Кабриоль, Кабриоль, — позвали дети.

— Ну... чего вам?

— Идите сюда, мы нашли дикаря, честное слово, настоящего дикаря, совсем голого, возле речки.

Кабриоль спустился на луг и пошел по направлению ко мне.

— Где же он, ваш дикарь?

— Там сидит, спрятался в листьях.

Они втроем подошли ко мне, оглядели меня со всех сторон и громко расхохотались.

— На каком же языке говорит ваш дикарь? — спросил тот, которого звали Кабриолем.

— Я, сударь, француз, — заявил я, робко выступая вперед и тут же, задыхаясь от волнения, рассказал им свое приключение с купаньем. Оно показалось им много забавнее, чем мне, и они все трое помирали со смеху.

— Лабульки, — сказал одному из них Кабриоль, — пойди и принеси из повозки этому дикарю какую-нибудь блузу и штаны.

Через минуту Лабульки бежал обратно и нес платье. Я оделся в одну секунду и прыгнул на верх откоса.

— Теперь, — сказал Кабриоль, — пойдём со мной к нашему хозяину.

Он повел меня к первой повозке, в которую я должен был влезть по деревянной лесенке.

На разведённом огне стоял таган, в котором варилось рагу. У огня сидел тощий и сморщенный маленького роста человек, а рядом с ним великанша, такая огромная и толстая, что мне стало страшно, — я никогда подобных не видал.

Я должен был опять повторить рассказ о приключении сегодняшнего дня, чем вызвал общий хохот.

— Так ты шел в Гавр для того, чтобы поступить на корабль и уехать в Америку? — спросил меня маленький человек, когда все немного успокоилось.

— Да, сударь.

— А кто же заплатит мне за панталоны и за блузу, в которые ты теперь одет?

С минуту я не знал, что отвечать, но затем, собрав все свое мужество, проговорил:

— Я бы вам мог за них отработать.

— А что ты умеешь делать? Например, умеешь ли ты паясничать?

— Нет, сударь, не умею.

Глава X

— Умеешь глотать шпагу?

— Нет.

— Ну, а можешь играть на трубе или на тромбоне, наконец, на барабане?

Я отрицательно покачал головой.

— Желал бы я знать, чему же тебя после этого учили? Твое образование ничего не стоит, мой милый.

— Ясно, что этот мальчишка не находка для труппы — в нем не видно никакого уродства: сложен как и все люди, — недовольным тоном заметила великанша, критически осматривая меня с головы до ног.

Затем она пожала плечами и с презрением отвернулась от меня.

— Тоже воображает, что может работать за деньги.

Ах, если бы я был уродом, или чудовищем с двух головами, или с хвостом, как обезьяна, но увы, я сложен как все люди, какой позор! — Подумал я с горечью про себя.

— Умеешь ли ты, по крайней мере, чистить лошадей и убирать конюшню? — сказал маленький человек с непроницаемым для моей младенческой наивности взглядом.

— Да, сударь, я попробую, постараюсь...

— Ну, ладно, значит с этой минуты ты состоишь на службе в зверинце знаменитого, могу сказать, в целом свете, графа Лаполада. Знаменитого столько же красотой зверей, сколько и геройством Диелетты, или, вернее, Дези, нашей дочери; она-то и есть укротительница львов. Иди за Кабриолем, он покажет тебе, что ты должен будешь делать всякий день, а потом придешь ужинать со всеми вместе.

Все эти люди показались мне подозрительными и противными, но что мне оставалось делать?

Быть разборчивым не приходилось. И на этот исход я смотрел как на неожиданное спасение, и за него должен был благодарить Бога, иначе приходилось совсем пропадать.

Таким-то образом я начал свою новую службу в странствующей труппе акробатов. Хозяин мой, вопреки всякому вероятию, был действительно настоящий граф, для

доказательства чего у него имелись подлинные бумаги. Он предъявлял их очень охотно в важных случаях.

Очевидно, он не сразу упал так низко, а его настоящее положение являлось результатом прежней порочной и безобразной жизни. В конце концов он женился на «великанше» и завел зверинец. Женился он на ней, когда нищенство его дошло до крайних пределов. Она же к тому времени успела себе прикопить порядочные деньжонки. Известная на всех ярмарках городов средней Европы под названием «великанши из Бордо», хотя на самом деле она была родом из Оверни, в молодости женщина эта считалась «чудом света». На одной вывеске балагана она была изображена в розовом платье, причем кокетливо выставила на табуретке одну ногу, обутую в белый чулок; нога эта была невероятных размеров.

В другом месте ее нарисовали в голубом бархатном спенсере с рапирой в руке, готовой сразиться с атлетом-бригадиром; солдат был ростом много меньше, чем она. Внизу надпись золотыми буквами гласила: «Господин военный, — вам начинать».

Ее деньги и слава соблазнили графа Лаполада, тем более что у него самого был единственный талант «лаять по-собачьи», но, действительно, лаял он неподражаемо. В балагане никто не мог лучше его представить четвероногого сторожа у дверей. Репутация его с этой стороны прочно установилась.

Эти двое составили достойную парочку и сообща завели труппу акробатов и зверинец. В первые годы своего существования их зверинец соперничал с знаменитым Гуго де-Массилья. Искусство лаять по-собачьи составило имя Лаполаду среди ему подобных, и он наживал этим деньги, которые тут же проедал и пропивал, потому что был страшный обжора.

Благодаря этим свойствам своего характера Лаполад плохо смотрел за животными и плохо их кормил. Некоторые уже передохли, а других он вынужден был продать. В то время, как я поступил в его труппу, зверинец состоял из одного только довольно старого льва, двух гиен, одной змеи и ученой лошади, которая во время странствований днем запрягалась и везла повозку, а вечером участвовала в представлениях. Паяц Кабриоль, гимнасты Филясс и Лабульи, кларнетист Герман и барабанщик Королюс, Дизлетта и я составляли остальную труппу, не считая хозяев. За ужином я познакомился со всеми своими новыми товарищами.

Хотя я был пока только конюх, но и меня допустили к столу компании этих знаменитых своими талантами людей.

Слово «стол» не совсем соответствовало тому предмету, на котором мы ужинали. Это был длинный и широкий деревянный некрашенный ящик. Он занимал середину повозки и выполнял три рода обязанностей: внутри его лежали костюмы для представлений в балагане, наверху ставились тарелки, и тогда он служил обеденным столом, а на ночь на него клали матрас, на котором спала дочь Лаполада, маленькая Дизлетта, или, Дези. Рядом со столом стояли два ящика поменьше и подлиннее, это была скамейка для членов всей труппы, потому что стулья полагалось иметь только хозяевам. Меблированное таким примитивным способом, это первое отделение повозки имело свою хорошую сторону — чистого воздуха в нем было сколько угодно. Стеклопанель створчатая дверь открывалась на крылечко, а два маленьких окошечка с занавесками из красного кумача придавали ей вид комнаты.

За ужином меня стали расспрашивать о моем прошлом. Я отвечал коротко и неохотно, благоразумно умалчивая об отце и о матери, а равно и о дяде, даже не назвал ни своей настоящей фамилии, ни откуда я родом. Когда я стал рассказывать о живописце и об его столкновении с жандармом, Дези объявила, что я вел себя глупо и на моем месте она бы только позабавилась всей этой историей. Оба музыканта с ней согласились, в знак чего и загоготали в один голос раскатистым грубым смехом, который составляет отличительную принадлежность баварских немцев.

Дези была девочка лет двенадцати, по виду хрупкая и нежная. У нее были удивительного цвета темно-голубые глаза, и когда она пристально ими смотрела, то становилось почему-то жутко.

Когда ужин окончили, на небе догорала еще вечерняя заря.

— Теперь, дети мои, — заявил Лаполад, — воспользуемся вечерними сумерками, чтобы заняться гимнастикой, надо чтобы мускулы не одеревенели.

Он уселся на крылечке повозки, куда девочка принесла ему трубку.

В это время Лабульи и Филясс притащили на траву небольшой ящик с крышкой. Филясс первый расстегнул блузу, вытянув руки и ноги, и, раскачивая головой, так, как бы он хотел отделить ее от тела, влез в ящик, где и исчез. Я был донельзя изумлен, мне показалось это невозможным.

Теперь очередь была за Лабульи: несмотря на все усилия, он повторить этой штуки не мог. Тогда, не вставая с своего места, хозяин отвесил ему по плечам, со всего размаха, бичем такой удар, что у меня искры из глаз посыпались, хотя я тут был не причем.

— Ты опять наелся, животное, — прибавил он хриплым голосом, — завтра ты посидишь у меня на одном хлебе и на воде.

Потом повернулся ко мне.

— Ну, теперь очередь за тобой.

Я отступил на несколько шагов, чтобы меня нельзя было достать ударом хлыста.

— Что мне делать? — с замиранием сердца спросил я.

— Прыгай через эту яму, можешь?

Яма была глубокая и широкая, но я перепрыгнул ее, и даже хватил на два фута дальше, чем было надо.

Лаполад, видимо, остался доволен моим прыжком и заявил, что я буду хорош для трапеции.

В первой повозке помещались хозяева, во второй звери, а в третьей спали мы все, служащие, и, кроме того, она служила складочным местом для всякого хлама. Так как внутри повозки для меня не оказалось постели, то я взял охапку соломы и лег под повозкой.

Огни погасли, шум затих.

Среди ночной тишины раздавалось только фыркание лошадей, которые тянулись от своих коновязей сорвать пучок пыльной придорожной травы, да из зверинца доносилось могучее дыхание льва. Он время от времени жалобно вздыхал, как будто неподвижная духота ночи напоминала ему родную африканскую пустыню, и он ударял хвостом по бедрам при мысли о прежней свободе.

Я невольно сравнил себя с ним. Он находился в крепкой железной клетке, а я на свободе. Одну минуту мне пришло на мысль убежать от этих гадких людей и продолжать дальше путь в Гавр, но это значило украсть платье у Лаполада, а с этим не мирилась моя детская совесть. Что делать — надо за него поработать. В конце концов, все же здесь не хуже, чем у дяди; эту ночь я заснул с тяжелым сердцем.

Караван наш отправлялся в Фалез на Гюильбрейскую ярмарку. Там я увидел в первый раз, как Дези взошла в клетку льва и как искусно Лаполад лаял по-собачьи.

Из сундуков мы повиытаскали запасные костюмы. Девочка поверх своего трико надела платье, вышитое золотом и серебром, а на голову ей надели венок из роз. Мои товарищи, гимнасты Лабульи и Филясс, представляли из себя красных чертенят. Немцев нарядили польскими уланами, на голову им нацепили шляпы, украшенные перьями.

Меня всего выкрасили в черную краску, руки, лицо и грудь, — я должен был изображать негра-невольника, привезенного из Африки вместе со львом, и мне велели на все молчать. На вопросы посетителей я должен был улыбаться, показывая как можно больше зубы.

Мать родная и та не узнала бы меня в таком виде. По-видимому, Лаполад этого, главным образом, и добивался; он, верно, и опасался, чтобы в толпе не случилось кого-нибудь, кто случайно мог бы меня узнать. В продолжение двух часов у нас происходил невообразимый шум и гам. Кабриоль оканчивал свои приготовления к параду, пока Дези повторяла какие-то акробатические па с Лабульи. Сам Лаполад нарядился генералом.

Толпа, собравшаяся поглазеть на представление, обступила нас со всех сторон. Везде

мелькали белые нормандские колпаки на мужчинах и высокие чепчики на женщинах. Генерал сделал жест рукой, и музыка прекратилась. Затем он наклонился ко мне и сунул мне в рот зажженную сигару, которую только что начал курить.

— Раскуривай мне ее, пока я буду говорить.

Я смотрел на него с разинутым ртом, не понимая, что мне делать с этой сигарой. Кто-то ударил меня ногой сзади.

— Ну не каналья ли ты, — прошипел Кабриоль, — хозяин дает ему сигару, а он манежится! — при этих словах он дал мне нового пинка.

Я едва устоял на ногах к большому удовольствию невзыскательной публики. Послышался хохот и аплодисменты. Я никогда не курил и даже не соображал хорошенько, надо ли втягивать в себя дым или, наоборот, выдыхать его, но времени для расспросов не было; одной рукой Кабриоль тянул меня за подбородок, а другой поднимал за нос, а в открытый рот Лаполад затискивал сигару.

Должно быть, я делал отчаянные и уморительные гримасы, потому что зрители покатывались со смеху, держась за бока.

Генерал снял свою шляпу с султаном, толпа замолкла и приготовилась слушать, что будет дальше. Водворилось молчание.

— Вы видите перед собою знаменитого Лаполада. Кто же он? Разве этот шарлатан в одежде генерала? Да, это он самый. А почему же, спросите вы, этот столь знаменитый человек оделся в шутовской костюм? Для того именно, чтобы сделать вам удовольствие, государи мои! Сказать правду, все вы, взятые каждый в отдельности, люди препочтенные и считаете меня за шарлатана, между тем сами-то вы, придя в театр, представляете собою толпу любопытных зевак.

В публике слышались ропот и свистки.

Лаполад несколько этим не смутился, он взял у меня сигару, затянулся несколько раз и затем, к великому моему отчаянию и отвращению, снова сунул мне ее обратно в рот.

— Желал бы я знать, почему вы ворчите, вы, человек в колпаке и с красным носом? Потому именно, что я сказал вам, что дома вы почтенный человек, а на народе разиня, — ну, хорошо, прошу у вас прощения! Может быть, вам лучше придется по вкусу другое, а именно то, что дома вы шут гороховый, а перед публикой только притворщик?

Публика от неожиданности этого оборота начала гоготать, и когда смех утих, Лаполад продолжал.

— Таким образом, если бы я не был переодетым генералом, вместо того, чтобы смотреть на меня во все глаза и с разинутым ртом, вы бы шли себе своей дорогой, не останавливаясь у балаганов. Но я ведь понимаю людей и знаю, на какую удочку их следует ловить. Вот поэтому-то я выписал из Германии вот этих двух немецких музыкантов, которых вы видите перед собой, для этого же самого я пригласил в свою труппу Филясса, ловкость которого известна всему свету, наконец, Лабульи и знаменитого Кабриоля, которого мне хвалить не приходится, потому что вы оценили его сами по достоинству.

Вы останавливаетесь ради любопытства, в вас задет интерес, и говорите: — Посмотрим-ка, что он нам еще покажет? Господа музыканты, сыграйте же веселенькую штучку этой почтенной публике, она это понимает и охотно идет посмотреть на все наши чудеса.

Удивительно, как иногда разные глупости на всю жизнь остаются в памяти, тогда как полезные знания улечиваются бесследно!.. Эту высокопарную речь Лаполад повторял почти слово в слово на каждом представлении, и я запомнил ее навсегда.

В этот первый день я, впрочем, запомнил только начало его речи. Дым от сигары с непривычки вызывал у меня тошноту и головокружение. Когда я вернулся в барак, то почти ничего не сознавал из того, что вокруг меня происходило. Согласно предназначенной мне роли я должен был открыть двери, где помещались звери, когда Дези войдет в клетку. Я как в тумане видел, как она подошла ко мне; одной рукой она держала хлыст, а другой посылала воздушные поцелуи публике.

Гиены ходили лениво по клетке от одной стены к другой, а лев положил голову на лапы и, казалось, дремал.

— Невольник, открой мне дверь! — громко и отчетливо проговорила девочка, оборачиваясь ко мне.

Я машинально отворил клетку. Она подошла ко льву, но он не пошевелился. Тогда она взяла его за уши своими маленькими ручками и начала дергать их изо всех сил, чтобы заставить его поднять голову. Зверь по-прежнему продолжал лежать неподвижно, только когда она в нетерпении, изо всей силы ударила его хлыстом, он вскочил, точно от прикосновения электрического тока, стал на обе лапы и зарычал так, что у меня подкосились ноги. Страх и одурение, в которое меня привело курение сигары, окончательно меня доконали, я потерял сознание и как сноп повалился на землю.

Лаполад был человек находчивый и обращал в свою пользу решительно все.

— Посмотрите, до чего доходит свирепость этого зверя, одно его рычание лишает сознания даже детей пустыни.

Мой обморок был так очевиден для всех, что сцена эта не могла быть подготовлена заранее, и публика разразилась громом оглушительных аплодисментов. Я лежал на земле, мне было до того плохо, что я не мог пошевелинуться, но слышал все, что происходило вокруг — и рычанье льва и пронзительные крики гиен и браво публики.

Кабриоль вынес меня из балагана и бросил в раздевальной, как охапку тряпья. Я услышал топот ног людей, вышедших из балагана. Кто-то подошел ко мне и дернул меня за руку. Это была Дези, она держала в руке стакан воды.

— Выпей немножко сахарной воды. Какой ты глупыш, что так испугался за меня! Ну, да все равно, спасибо тебе! Я вижу, что ты добрый мальчик.

Это были первые слова, с которыми она обратилась ко мне с тех пор, как я поступил в труппу.

Такое неожиданное выражение сочувствия очень меня тронуло, я почувствовал себя не таким одиноким. До сих пор Филясс и Лабульи всячески изощрались, чтобы насолить мне, где было можно, и без повода с моей стороны, единственно ради злобного удовольствия. Немудрено, что я обрадовался, услышав в первый раз доброе слово.

На другой день я подошел к девочке, чтобы поблагодарить ее, но она ничего не стала слушать, повернулась ко мне спиной и не ответила ни слова. Тогда мне стало еще больнее, и я решил безоговорочно бежать при первом же удобном случае.

Эта бродячая жизнь мне опротивела: колотушек я получал сколько угодно; днем чистил лошадей и звериные клетки, а вечером должен был представлять негра, ломаться и кривляться перед публикой. Мне казалось, что я давно уже заслужил старые панталоны, куртку и сапоги Лаполада...

Бедная, дорогая матушка! Неужели для того я покинул тебя, чтобы сделаться странствующим паяцем! О, если бы она увидела меня в этом виде и узнала бы всю правду. Как бы ей было больно и стыдно за меня! Только бы поскорее покончить с этой жизнью.

Между тем лето подходило к концу. Ночи становились холоднее, а дни дождливее. Скоро нельзя уже будет спать под открытым небом. Надо было торопиться и тем более, что из Гибрея мы должны были спуститься по Луаре и совсем уйти от моря, а значит и от Гавра. Опыт научил меня некоторой осторожности. Необходимо было кое-что припасти для побега. Поэтому я начал экономить, собирать корки хлеба и сфабриковал себе новые подошвы из старого голенища. Сделав это, я решил, что убегу в первую же ночь нашей остановки на ночлег.

Когда я кончал потихоньку башмаки и приготавливался их припрятать, ко мне неожиданно подошла Дези.

— Ты хочешь бежать от нас, — сказала она шепотом, — я давно это угадала.

Я сделал отрицательный жест.

— Не возражай мне лучше и не лги, я давно за тобой наблюдаю и вижу, как ты прячешь хлеб в сундук, где лежит мешок с овсом, — а это не даром. Не бойся, я тебя не только не

выдам, а наоборот, если ты согласен, то я сама хочу убежать с тобой вместе.

— Может ли это быть, — воскликнул я, — неужели ты решишься оставить своих родителей? Я по опыту знаю, как это тяжело, не делай этого ни под каким видом!

— Моих родителей, — сказала она с усмешкой. — Ты ошибаешься, эти люди мне не отец и не мать, а совсем чужие... Но нас могут застать вместе. Надо быть осторожными, здесь всюду есть уши. Иди на вал, спрячься в кусты и жди меня, я выберу свободную минуту и приду поговорить с тобой обо всем. При других мы не должны говорить друг с другом, чтобы не вызвать подозрений. Я вижу, что ты добрый и честный мальчик. Поможем же друг другу освободиться от этих злых людей.

Почти два часа я прождал Дези у земляного вала и уже стал подумывать, не посмеялась ли она надо мной, но нет — она пришла.

— Уйдем подальше, в самую чащу кустов. Боже избави, если нас увидят вместе, тогда нам могут помешать бежать.

Я пошел следом за ней. Когда мы убедились, что нас никто не видит и не слышит, Дези остановилась.

— Теперь сядем; первым долгом я расскажу тебе мою историю, чтобы ты ясно понял, почему я хочу убежать.

Хотя мы были приблизительно одних лет, но Дези, говоря со мной, принимала тон взрослого человека, и обходилась со мной, как с ребенком. Я не мог хорошенько понять, почему она, такая самостоятельная и умная девочка, могла нуждаться в помощи такого тщедушного мальчика, каким был я; все же ее доверие мне очень польстило, да и, кроме того, она угадала тайну моего побега; я не рассуждал об этом дольше, а сразу вошел в роль поверенного.

— Слушай же, Лаполад мне не отец; родного отца я совсем не помню, он умер, когда я была еще у кормилицы. Мы жили в Париже и у нас возле большого рынка была лавка белья, лент, кружев и разных мелочей.

Я не помню фамилии моей матери и также забыла название улицы, где мы жили. Все, что сохранилось от этого времени, это то, что мама моя была прекрасная молодая женщина с длинными белокурыми волосами, и что по утрам, когда я и мой маленький брат Женя играли у ней на постели, то могли прятаться в них, точно в кустах.

Она нас нежно любила, ласкала, целовала и никогда не била. Мой брат был немного постарше меня. По нашей улице проезжала масса экипажей, а по утрам на мостовой я видела груды капусты и разных овощей. Как раз напротив дома была церковь, а с порога двери была видна башня, на верху которой находился круглый золотой циферблат, а поверх башни две большие черные руки весь день двигались то в одну, то в другую сторону.

Когда в прошлом году я рассказывала об этих часах одному паяцу из труппы Массона, который был родом из Парижа, то он уверял меня, что это церковь Св. Евстафия, а большие черные руки — телеграф.

— Мать моя была занята весь день в магазине и ей некогда было ходить с нами гулять, поэтому она отпускала нас с одной из ее учениц, которую я называла няней. Однажды летом на дворе было очень жарко, и много народу гуляло на улицах, ученица-нянька пошла со мной на ярмарку, где торговали пряниками и сладостями. Эта ярмарка очень известна, и ты, верно, уже слышал о ней с тех пор, как живешь у нас в балагане. Не помню теперь, почему моего брата не было с нами. Только, одним словом, я была одна, а он остался дома.

В первый раз в жизни я видела балаганы, где представляли акробаты. Мне это очень понравилось. Я хотела побывать во всех балаганах, но у нас не было на это денег; мама дала мне на дорогу всего четыре су на пряники; ученица-нянька взяла их у меня, купила билет, и мы вошли в деревянный балаган, где показывали разные диковинки. В том балагане, куда мы забрались, показывали двух живых тюленей, плавающих в бассейне.

Не знаю уж теперь, как это случилось, что содержатель балагана разговорился с маминной ученицей; только после этого разговора он долго смотрел на меня и сказал, что я премиленькая девочка. Потом вышел вместе с нами и повел нас к виноторговцу. Мы вошли в

низкую темную залу, где никого, кроме нас, не было. Я очень устала, мне было жарко, и пока они пили сладкое вино, я уснула на каком-то грязном диване.

Когда же я проснулась, то уже было темно, почти ночь, няньки со мной не было. Я спросила у мужчины из балагана, где она, он предложил идти с ним, говоря, что именно к ней-то мы и пойдём. Поэтому я пошла за ним охотно. На улицах была масса народу, в ярко освещённых балаганах играла музыка. Незнакомый человек крепко держал меня за руку и заставлял идти очень скоро.

Вскоре мы вышли из толпы и очутились на широкой дороге, обсаженной деревьями, фонарей здесь не было. Кое-где светились в домах огни, но прохожих почти не встречалось. Я начала бояться и сама торопилась, чтобы придти домой поскорее, знакомый человек хотел понести меня на руках, но я отказалась. Он хотел взять меня насильно на руки, тогда я начала кричать. Проходящие по улице солдаты, услышав мои крики, остановились.

— Чего ты орешь, — сказал он мне, наклонившись к самому моему уху, — ведь я несу тебя к твоей маме.

Я успокоилась при этих словах и опять пошла за ним охотно, но дорога показалась мне много длиннее прежней. Мы шли мимо каких-то высоких и мрачных стен, потом вышли из больших ворот, у которых стояли часовые солдаты, и, пройдя еще немного, вошли в лес, которому, казалось, конца не было. Я страшно устала, окончательно расплакалась и не хотела идти далее.

— Молчи, дрянь ты этакая, — закричал на меня человек грубым голосом. — Смей только меня не послушаться, я тебя отколочу.

Прохожих больше не было, заступиться за меня было некому; он тянул меня изо всей силы за руку. Заливаясь слезами, я принуждена была идти дальше.

Ты понимаешь, Ромен, мне было пять лет, я еще всего боялась, да, кроме того, верила, что мы идем к маме, но когда перед нами замелькали огни в домах, я поняла, что мы пришли в какую-то деревню. У самого входа, на площади, у деревянной стены, стояли повозки акробатов, мы вошли в одну из этих повозок. Нас встретила женщина без ног, она пила водку.

Незнакомый человек что-то сказал ей потихоньку на ухо, и они оба долго меня рассматривали.

— Разве ты не видишь, — проговорила безногая женщина, — что у нее на щеке родимое пятно?

Действительно, у меня было маленькое розовое пятнышко, на месте которого теперь дырочка величиною с горошину.

— Это пустяки, — ответил мой мучитель, — мы его живо уничтожим.

Тогда меня охватил ужас. — Отведите меня к маме! — кричала я во весь голос. — Где же моя мама?

— Она завтра придет, моя милочка, — ласково сказала мне женщина, — а сегодня надо быть умницей и ложиться спать.

— Может быть, девчонка голодна? — заметил мужчина.

— Ну что же, можно дать ей поесть...

Тут только я заметила, что у женщины совсем нет ног, что она двигается, переваливаясь всем телом и опираясь на руки. Это очень меня удивило и еще больше испугало. Но так как она дала мне на ужин очень вкусное блюдо — зеленый горох с салом, совсем горячий, то я начала есть его с большим аппетитом.

— Премиленькая девочка, — еще раз повторила безногая старуха, — и не капризная на еду.

Она не знала, что для меня этот горох был любимым лакомством, которое дома мне никогда не давали.

Доктор велел кормить меня только мясом, потому что я была малокровна и часто хворала.

— Теперь пора и спать ложиться, — сказала женщина, когда я прикончила мисочку с

горохом.

Она отдернула занавеску, за которой в глубине повозки были посланы две постели. Я так наплакалась и устала, что заснула как мертвая.

Меня разбудила качка, точно кровать ходила подо мною направо и налево, а внизу громыхали колеса и цепи. Над моей кроватью помещалось маленькое окошечко, через которое проходил свет в повозку. Я стала подле него на колени и начала смотреть. Начинало светать, деревья мелькали перед окошком; в конце луга, через который проезжала повозка, блестела река. Я поняла, почему моя комната и моя кровать двигались и качались, вспомнила происшествие вчерашнего дня и громко начала звать: «Мама! Мама!» Грубый голос, которого я раньше не слыхала, ответил мне: «Не ори, мы едем именно к ней».

Но я больше не верила и начала кричать еще сильнее. Тогда человек, которого я раньше не видала, огромного роста, с кепи на голове, подошел ко мне совсем близко и, грозя кулаком, проговорил: «Если ты не перестанешь кричать, я тебя убью». Ты можешь вообразить, Ромен, как я начала от страха плакать, но когда он сделал движение, как будто хотел схватить меня за горло, я постаралась заглушить, как могла, свои рыдания.

Едва он вышел из повозки, я вскочила и хотела одеваться. Я начала искать свое платье, но его нигде не было, а спросить этих страшных людей побоялась и потому продолжала оставаться в постели.

Повозка ехала то по камню, то по песку. Через окошечко я видела, что мы проезжали деревней. Наконец мы остановились, и безногая женщина вошла в мое отделение.

— Где же моя мама, когда же наконец мы к ней приедем? — спросила я.

— Теперь скоро, мое сердце.

Ее ласковый тон меня ободрил немного.

— Я бы хотела встать.

— Отлично сделаешь, моя крошка, вот твоё платье, надевай его. Она показала мне на какую-то старую грязную юбку.

— Я не хочу, это не мое платье, отдайте мое, — просила я.

— Ты во всяком случае должна надеть это.

Я бы хотела лучше разорвать на клочки эти грязные лохмотья, чем надевать их на себя, но безногая женщина так страшно на меня посмотрела, что я не посмела возражать и надела эти отвратительные тряпки.

Тогда безногая женщина выпустила меня из повозки походить на свободе.

Мы остановились среди обширной равнины, на которой не было ни одного человеческого существа, а нас со всех сторон окружали только одни зеленые поля. Человек в кепи развел огонь и на треножнике прикрепил котел, в котором варили суп. Мне очень хотелось поесть, поэтому запах из котла приятно раздражал аппетит. Безногая женщина сначала оставалась в повозке, но человек в кепи взял ее на руки и снес на дорогу.

— Ты забыл про родинку, — сказала она, оглядывая меня со всех сторон.

— Да, это правда, мы сейчас с ней покончим.

Тогда этот злой человек зажал меня между ног так сильно, что я не могла пошевелиться, и крепко схватил мои руки. Безногая женщина одной рукой подняла мне голову, а другой срезала ножницами мою родинку на щеке. Кровь хлынула и залила мне рот и все лицо. Я думала, что меня зарезали, и кричала не своим голосом, стараясь укунить за руку своего палача.

Точно ничего не случилось, безногая женщина прижгла мне чем-то щеку, прижиганье это причинило мне адскую боль, зато кровь остановилась сейчас же.

— Теперь отпусти ее, — сказала она своему помощнику.

Вместо того, чтобы убежать от них прочь, я набросилась на нее и со всех сил вцепилась ей в глаза.

После этого неожиданного нападения она, наверное, задушила бы меня от злобы, если бы ее товарищ не вырвал меня и не запер в повозку.

Я оставалась взаперти и без пищи весь день, меня выпустили только к вечеру.

Первые слова мои были:

— Где мама? Пустите меня к ней.

— Твоя мама умерла, — сказала мне безногая старуха.

Но, сидя одна в повозке, я думала за этот день обо всем так много, как никогда в жизни, и сразу выросла на несколько лет.

— Это неправда, вы лжете, — ответила я ей. — Моя мама жива, а вы — воровка.

Она на эти слова начала злобно хохотать, а я плакала, плакала без конца...

Около месяца я оставалась с этими ужасными людьми. Они надеялись покорить меня и заставить слушаться голодом, как укрощают зверей, это им не удалось. Я делала все, что мне приказывали, пока хотела есть, а потом снова от меня ничего нельзя было добиться. Безногая женщина отлично поняла, что я никогда не прощу ей операции с родинкой, и я слышала не раз, как она говорила, что боится этого бесенка и что я способна всадить когда-нибудь ей в бок ножик.

Наконец, мы приехали в страну, имени которой я не знала, но где хлеб назывался «Brod» и где много рек. Они видели, что им со мной хлопот много, а выгоды никакой нет, и продали меня «слепому».

Он был такой же слепой, как мы с тобой; просто старый мошенник, выпрашивавший деньги, притворяясь слепым.

Целый день я должна была стоять с ним на мосту с протянутой рукой. К счастью, у него кроме меня была маленькая собачка, с которой я играла по вечерам, не то я бы, верно, умерла с тоски и с горя. Я терпеть не могла просить милостыню, бегать за прохожими и кланчить. За это мне постоянно доставалось от хозяина. Когда я добывала мало денег, он бил меня палкой. Наконец, и ему надоело меня колотить, слепой продал меня бродячим музыкантам, у них я должна была собирать деньги с публики. Походила-таки я с ними по белому свету. Где только я ни побывала. Я видела не только Англию, но и Северную Америку, где так холодно, что ездят по снегу без колес. Нужно было переехать океан, и ехать на пароходе целый месяц, чтобы туда попасть.

По возвращении во Францию музыканты продали меня Лаполаду, который хотел сделать из меня акробатку.

Кроме того, я должна была кормить зверей. В то время у нас в зверинце было три льва, из которых один был особенно свирепый, но со мною он делался необыкновенно кроток, и когда я приносила ему обед, он лизал мне руки.

Однажды Лаполад рассердился на меня за то, что я не могла выполнить какую-то замысловатую фигуру, и стал меня бить хлыстом. Я начала кричать. Эта сцена происходила как раз возле клетки, где сидел мой любимец — лев. Услыхав мои крики, он понял, что меня бьют, и стал рычать, затем вытянул лапу через прутья клетки, схватил Лаполада за плечо и потянул его к себе. Лаполад всячески старался увернуться, но лев не выпускал его. Если бы не прибежали люди с железными прутьями и не освободили его, то он бы его задушил.

После этого случая Лаполад проболел целых два месяца, но зато ему пришла мысль сделать из меня укротительницу зверей.

— Так как львы твои друзья, — сказала мне великанша, — они тебя не тронут, а в случае чего — старый тебя защитит.

Мне это понравилось гораздо больше, чем ломаться на трапеции, и с этих-то именно пор я сделалась «знаменитой Диэлеттой, которая покоряет своим очарованием свирепых детей пустыни». Как он глуп с этими своими «свирепыми детьми пустыни». Они смиреннее собак, если уметь с ними обращаться. Ах, если бы мой старый друг Ружо был жив, ты бы увидел, какие штуки я с ним проделывала. Я сажала их всех трех в одну клетку, потом начинала их всячески дразнить, когда же они злились, я говорила Ружо: «Защищай меня». Он тотчас же выступал вперед с таким страшным рычанием, что все кругом начинало трепетать. Тогда я нарочно падала в обморок, он лизал мне лицо и руки: открывали решетку клетки и он выносил меня, держа в пасти. Если бы ты только видел, как мне аплодировали. Стон стоял в театре, меня осыпали букетами цветов, сладостями. Прекрасные дамы целовали и

обнимали меня со слезами на глазах.

Я имела такой огромный успех у публики, что Лаполад предполагал отправиться в Париж. Подумай, какое бы это было для меня счастье. В Париже я могла бы убежать от него, найти свою маму. Но перед самым отъездом бедный мой Ружо заболел. Дело было зимой, а он был страшно зябкий и всегда дрожал. Ах, как я за ним тогда ухаживала, спала с ним вместе под одним одеялом, но ничего не помогло ему, и бедняжка к весне издох. Потеря этого друга была для меня страшным горем, думали, что я не перенесу его, так я тосковала. Поездка в Париж расстроилась, и пришлось на время отказаться от мысли разыскать маму.

Мне часто приходило с тех пор на мысль убежать от них, но одной бежать страшно, а Филяссу и Лабульи я не верю. Ты — другое дело, ты сам здесь чужой. Согласен ли ты помочь мне найти маму? Ты увидишь, как она будет тебе благодарна за это!

— Но меня такое предложение совсем не соблазняло. Мне незачем было идти в Париж. Я, в свою очередь, рассказал Дези всю правду, почему мне необходимо было попасть в Гавр.

— Это ничему не мешает, — возразила она, — пойдем сначала в Париж, найдем мою маму, а там все устроится, она заплатит за твой проезд до Гавра; мы с ней сами тебя проводим туда.

Я попробовал рассказать ей, как трудно будет нам идти по большим дорогам, спать где попало, рассказал ей, что я сам перенес.

— У меня есть семь франков и восемь су, этого нам хватит на еду до Парижа. Спать можно под открытым небом, если ты будешь со мной, я не буду бояться.

Это выражение доверия очень меня растрогало и было очень приятно для моего самолюбия. Кроме того, Дези была маленькой особой, которая умела всякого заставить себя слушаться.

У нее была своя особенная манера смотреть на человека. Взгляд ее больших темно-синих глаз имел особую силу; он был в одно и то же время застенчивый и смелый, детски наивный и проницательный, нежный и твердый, поэтому ей невольно подчинялись все: и звери и люди. Мы решили, что в Орлеане бежим.

— А до тех пор я больше с тобой не буду разговаривать, и ты со мной тоже не говори; ты такой ребенок, что не умеешь притворяться и сейчас же себя выдашь, — сказала мне на прощанье Дези.

Я поморщился от этой похвалы.

— Дай мне руку, — сказала она, — вот именно потому, что ты такой добрый и совсем еще ребенок, я тебе верю.

Однажды в субботу, когда на рынке шла бойкая торговля, а улицы были запружены народом, на базарной площади, через которую пробирались к своим повозкам Филясс и Лабульи, они остановились перед Тюркетеном. Этот Тюркетен под музыку турецкого барабана вырывал зубы с такой быстротой, что они так и летали в воздухе, точно он играл ими в бабки. Тогда он еще не имел такой славы, какую дали ему впоследствии тридцать лет войны с нормандскими челюстями, но и тогда верность руки и, в особенности, его лукавый и острый ум сделали его чрезвычайно популярным во всех восточных департаментах, и народ всегда толпился у его фуры.

Глава XI

Лабульи хотя был плохой гимнаст, но зато очень ловкий фокусник, и любимой его забавой было дурачить своим искусством добродушных простолюдинов, которые приходили из окрестных деревень на базар. Когда я увидел, что он вертится посреди толпы около Тюркетена, то остановился посмотреть, какие он будет выкидывать фокусы, однако же держался в стороне, ибо ему часто попадало, если он заходил в своем умении дурачить добрых людей слишком далеко.

Хорошо, что я так сделал. В этот раз шутка состояла в том, чтобы вытаскивать

табакерки у тех, кто нюхает табак, а платки у тех, кто совсем не нюхает.

Лабульи, с присущей ему ловкостью, должен был шарить в карманах зрителей, а Филясс моментально подсыпал в табакерки кофейную гущу, а когда ему попадались чистые носовые платки, то он пачкал их в нюхательный табак.

Занявшись искусством Тюркетена и заглядевшись в рот терпеливым пациентам, наивная публика ничего не замечала. Уже несколько человек, вытащив платок и высморкавшись, начинали неистово чихать к великой потехе двух плутов. Другие, понюхав из табакерки, с наивным удивлением поглядывали друг на друга, не догадываясь, куда девался табак. В это время полицейский заметил, как Лабульи запустил руку в карман к пожилой женщине, чтобы вытащить у нее платок.

В толпе поднялся шум, движение, их обоих схватили. А я, не дожидаясь развязки, протолкался через толпу и побежал к нашим повозкам, где и рассказал о случившемся Лаполаду.

Через час полиция пришла делать у нас обыск. Конечно, ничего не нашли, потому что никто из них не воровал. Несмотря на это, обоих гимнастов арестовали.

Все объяснения Лаполада не привели ни к чему, пришлось отступить, чтобы самому не попасть в сообщники и укрыватели краденого добра. Полиция не очень-то долюбливает акробатов, и если случается пропажа, то их первых подозревают и обвиняют, тогда не требуется доказательств их виновности, а наоборот, им приходится всячески доказывать свою невиновность.

Филясс и Лабульи никак не могли доказать, что они лазили по карманам публики для забавы, а не для воровства, все внешние улики были против них. Полиция не стала много разбирать, а засадила их в тюрьму, где они и должны были отсидеть довольно продолжительное время.

Лаполад решил, что теперь я обязан заменять ему их обоих. Когда он объявил мне об этом, я залился горькими слезами, ибо не чувствовал ни малейшего желания кривляться для потехи публики, паясничать и прятаться в ящик с крышкой.

— Не плачь, — говорил мне Лаполад, дергая меня за вихор, что у него выражало ласку и особое благоволение, — ты будешь отличатся в другом. У тебя есть гибкость в членах, и ты можешь быть чудесным вольтижером. Не надо только трусить.

В первый раз я дебютировал в новой роли на ярмарке в Алансоне. К несчастью я еще слишком мало имел опытности и умения и несмотря на то, что я проделывал самые простые акробатические упражнения, со мной случилось несчастье, которое надолго помешало осуществиться нашему побегу.

Дело было в воскресенье. Мы начали представления с 12 часов дня и без передышки должны были давать их до вечера. Несчастные музыканты до того истомились, что с трудом могли играть руками и дуть в свои трубы. Сам Лаполад устал, охрип и уже с трудом мог говорить с «почтеннейшей публикой». Лев не хотел больше вставать, и когда Дези грозила ему хлыстом, он глядел на нее умоляющим взглядом, а я прямо умирал от усталости. Мне хотелось и есть, и пить, а руками и ногами я еле мог двигать.

В 11 часов вечера народ все еще толпился в нашем балагане и не хотел уходить. Лаполад решил дать еще одно, последнее, представление.

— Мы умираем от усталости, — обратился он к толпе, — но для вас готовы даже умереть, входите, честные господа, входите!

Представление начиналось с меня. Я должен был перепрыгивать через четыре лошади, одну за другой, и потом прыгать через палку, которую то поднимал, то опускал Кабриоль. Первые прыжки мои были неудачны. Публика начала выражать неудовольствие.

Кабриоль держал на плечах жердь, на которую я должен был влезть. Я хотел сказать публике, что не могу больше прыгать, но грозный взгляд Лаполада парализовал мое намерение; возбужденное ожидание толпы кое-как поддержало мои падающие силы. Я вскочил на плечи Кабриоля и взобрался довольно легко на вершину жерди, но Кабриоль, в свою очередь, выбился из сил в тот момент, когда я должен был горизонтально

распластаться на шесте, я почувствовал, что шест покачнулся, у меня закружилась голова, пальцы разжались, выпустили конец палки, и я полетел стремглав вниз с головокружительной быстротой.

Толпа ахнула; я упал на землю. Удар был очень силен, так как я свалился с высоты пяти метров, и если бы на земле не были насыпаны опилки, я бы, верно, совсем расшибся. Я чувствовал сильнейшую боль в плече, в нем что-то хрустнуло, я постарался встать и даже имел силы раскланяться с публикой, которая, привстав на скамейках, с напряжением следила за моими движениями, но я не мог пошевелинуть правой рукой. Меня окружили, стали расспрашивать. Я сильно страдал от боли, мне сделалось дурно.

— Это пустяки, — уверял Лаполад, — соблаговолите, господа, занять ваши места, представление продолжается.

— Он не будет в состоянии сделать вот этого, — балаганил Кабриоль, подымая над головой обе руки. — Добрые души могут спать спокойно.

Публика начала неистово аплодировать этой выходке.

Действительно, в продолжении шести недель я не мог сделать движения, представленного Кабриолем, я вывихнул себе плечо. В балаганах редко обращаются к докторам. Лаполад своими средствами наложил мне повязку по окончании представления. Вместо всякого лекарства он оставил меня в наказание спать без ужина. Я лежал один в повозке для зверей. Часа два прошло после падения, я не мог уснуть от боли; меня мучила страшная жажда; я поворачивался то в ту, то в другую сторону, не находя себе нигде покоя, плечо страшно ныло. Вдруг мне показалось, что кто-то тихонько приотворил дверь в повозку.

— Это я, — сказала Дези шепотом, — ты спишь?

— Нет.

Она быстро подошла к моей постели, наклонилась и поцеловала меня.

— Простишь ли ты мне? — сказала она мне на ухо.

— Что простить? — спросил я ее слабым голосом.

— Если бы я не задержала тебя тогда, ты бы убежал из трупы, теперь был бы уже далеко, и с тобой не случилось бы сегодняшнего несчастья.

Лунный свет падал через низкое отверстие окна, и мне показалось, что по бледному лицу Дези текли слезы. Тогда мне захотелось показаться молодцом.

— Это пустяки, — отвечал я, — разве ты считаешь меня неженкой?

Я хотел пошевелинуть больной рукой, но острая боль заставила меня застонать.

— Вот видишь ли, — повторила девочка, — это все из-за меня, все из-за меня!

И быстрым движением она расстегнула свою кофточку. Вот посмотри, — проговорила она, — пощупай.

— Что?

Тогда она взяла потихоньку мою здоровую руку и положила на свою возле локтя, я почувствовал точно кровь.

— Когда я увидела, что ты сломал себе плечо, я укусила себя за руку так сильно, как только могла укусить, потому что настоящие друзья должны страдать заодно.

То, что она сделала, было до крайности глупо, но меня это так растрогало, что мне хотелось заплакать.

— Разве ты бы не сделал того же самого для меня? Я принесла тебе веточку винограда, достала из сундука. Тебе хочется есть?

Мне хотелось пить, поэтому я съел виноград с наслаждением.

Она принесла мне еще стакан воды, ступая так легко, точно привидение.

— Теперь пора спать, — с этими словами Дези тихоньку положила мою голову на подушку. — Выздоровливай поскорее, чтобы мы могли убежать. Я не хочу, чтобы ты еще раз лазил на шест, все эти дурацкие фокусы совсем не по тебе.

— А если Лаполад силой меня заставит?

— Смеет он. Тогда я напущу на него Мутона. Это не трудно. Один хороший удар

лапой, и от него ничего не останется.

На пороге двери она остановилась еще раз, дружески кивнула головой и сказала — спи!

После ее ухода мне стало легче, точно и вывихнутое плечо меньше ныло и горело. Я наконец нашел удобное положение и заснул с мыслью о матушке, растроганный, но уже не такой грустный и одинокий, каким я чувствовал себя раньше. Самое неприятное в истории моего падения было то, что мне пришлось долго пролежать, а осень становилась с каждым днем холоднее. В августе можно ночевать в поле, а каково будет в ноябре? Может даже выпасть снег; что тогда мы будем делать? Дези всячески меня берегла, она сама ухаживала за зверями, и, кажется, с большим, чем я сам, нетерпением ожидала моего выздоровления, а когда я начинал говорить, что было бы благоразумнее подождать до весны, она и слушать не хотела и начинала сердиться.

— Если ты останешься жить еще в балагане, ты не вынесешь и умрешь к весне. Лаполад начнет учить тебя лазить по трапедии. Этого, я знаю, тебе не избежать; ты увидишь, какая это мука. Кроме того, мы все дальше и дальше уходим от Парижа, а к весне совсем уйдем на юг.

Этот последний аргумент убедил меня в немедленной необходимости бежать.

Надо было только раньше выздороветь. Всякое утро мы с Дези делали прогулку во дворе. Для этого я поднимал руку, сколько мог. Она делала всякий раз на двери пометку перочинным ножом, и мы сравнивали день за днем высоту пометки. Рука очень медленно заживала.

Из Алансона мы направились в Вандом, а из Вандома в Блуа. Из Блуа должны были идти к Туру, где Лаполад велел мне принимать участие в представлениях. Поэтому мы решили с Дези, что побег наш состоится из Блуа, и что через Орлеан пойдем по дороге в Париж. Она дала мне денег и я купил в Вандоме у старьевщика подержанную карту Франции. С помощью шпильки я устроил циркуль и высчитал, что из Блуа до Парижа сорок лье. Это было очень далеко. Особенно в ноябре, когда дни такие короткие, не более десяти часов. Дези никогда много не ходила, выдержит ли она переход по шести лье в день? Она уверяла меня, что да, но я, более опытный в этом деле, сомневался.

При самых благоприятных условиях надо было считать неделю безостановочной дороги до Парижа.

К счастью, ей удалось припрятать еще три франка. Запас провизии был сделан. Сапоги мои готовы, кроме того, мы случайно нашли по дороге старую лошадиную попону и спрятали ее потихоньку от всех. На нее мы сильно рассчитывали во время ночного холода.

Таким образом, все приготовления к побегу были сделаны, оставалось только подождать, пока плечо мое совсем заживет, но судьба нам снова не благоприятствовала, случилась опять неожиданная задержка.

Мутон, обыкновенно очень смиренный и послушный, на этот раз оказался виновником большой для нас беды.

Однажды вечером, во время представления, двое англичан много аплодировали Дези. После окончания они подошли к ней и попросили еще раз показать им искусство укрощать льва. Лаполад согласился на это предложение тем охотнее, что оно было сделано двумя хорошо одетыми и сытно пообедавшими господами, следовательно, ему щедро заплатят. Дези во второй раз вошла в клетку к Мутону.

— Какое прелестное дитя! — восхищались они, — и притом какова смелость! — и они снова начали неистово аплодировать.

Не знаю, эти ли похвалы задели самолюбие Лаполада, или что другое, но ему, очевидно, стало досадно, почему он остается в стороне.

— Своим искусством она обязана исключительно мне, — заметил он небрежно, кивая на Дези, — это я научил ее управлять зверями, и без меня эта девочка ничего бы не стоила.

— Никогда этому не поверю, — ответил младший, белокурый и румяный молодой человек, — это искусство дается природой. Вы хвастун; я уверен, что вы не осмелитесь войти в клетку ко льву.

- Готов держать пари на десять луидоров, что вы не войдете, — прибавил другой.
- Принимаю ваше пари.
- Хорошо, только пусть малютка выйдет из клетки, а вы войдете туда один.
- Дай мне хлыст, — закричал Лаполад, обращаясь к Дези.
- Условие, что девочка уйдет отсюда и не вернется, — настаивали англичане.
- Хорошо, согласен и на это.

Мы все собрались вокруг клетки: Кабриоль, г-жа Лаполад и музыканты. Я, как всегда, должен был открыть дверь в клетку. Лаполад снял свой генеральский костюм.

— Если этот лев умный зверь, — насмешливо сказал один из англичан, — он его не тронет; ничего соблазнительного — одни кости да кожа.

Насмешки над хозяином и над его напускной важностью доставили нам большое удовольствие; зато Лаполад, видимо, злился и терял самообладание.

Мутон был умный зверь, он отлично помнил об ударах железной палкой и вилами, которыми хозяин щедро награждал его при всяком удобном случае.

Когда Лаполад храбро вошел к нему в клетку, лев начал дрожать. Тогда Лаполад еще больше расхрабрился, ему показалось, что он действительно укротитель диких зверей и что Мутон дрожит от страха.

Тогда он ударил зверя по голове, как обыкновенно это делала Дези своей маленькой ручкой. Мутон сообразил, что теперь враг в его власти. Вся его дикая гордость возмутилась, он мгновенно вскочил, дико зарычал, и, раньше чем мы успели опомниться, ударом лапы повалил Лаполада и смял его, навалившись на врага своим могучим телом.

— Умираю, помогите, где Дези? — стонал Лаполад. Лев наклонился над своей жертвой и, казалось, наслаждался победой над старинным врагом.

Кабриоль схватил вилы и начал наносить льву удары, но лев даже и не пошевелился. Музыканты побежали за Дези. Один из англичан выхватил из кармана револьвер и хотел выстрелить в ухо льву, но м-м Лаполад остановила его жестом.

— Не убивайте его! Подождите!

— Вот это славно, — вскричал англичанин, — для этой женщины лев дороже мужа, — и при этом прибавил несколько слов по-английски.

В это время прибежала Дези. Один из прутьев клетки легко вынимался, отогнув его, она могла пролезть в клетку. Мутон сначала ее не заметил, потому что стоял к ней спиной. В руках у Дези не было хлыста, но она храбро схватила льва за гриву. Удивленный подобным нападением и не видя, откуда оно, зверь так быстро обернулся, что при этом прижал девочку своим телом к прутьям клетки.

Но это продолжалось одно мгновение; узнав Дези, он сейчас же опустил лапу, которой хотел ударить невидимого врага, выпустил Лаполада, стыдливо опустил голову и забился в угол клетки.

Лаполад не умер, но у него так сильно были повреждены все члены, что его с трудом удалось вытащить из клетки, пока Дези укоризненным взглядом удерживала Мутона в другом углу. Она сама тоже пострадала, лев отдал ей ногу, так что восемь дней она не могла совсем ходить; Лаполада же уложили в постель полумертвого, ободранного, истекающего кровью.

Наконец, недели через две после этой неприятной истории Дези поправилась. Времени терять было нельзя. Раненый и больной Лаполад не мог нас преследовать. Трудно было дожидаться более благоприятного времени для побега.

Мы назначили его на третье ноября. Осень стояла довольно теплая, и мы могли добраться до Парижа ранее наступления зимних холодов. Решено было, что я первый выйду из балагана, так как за мной не следили, и унесу весь багаж, то есть: запас черствых корок хлеба, попону, бутылку вина, башмаки и узелок с бельем Дези, который мы спрятали в мой ящик с овсом, и, наконец, жестяную кастрюльку. Когда хозяева уснут, Дези тихонько выйдет из повозки и прибежит к месту под деревом на бульваре, где мы заранее условились встретиться. Я пришел туда к одиннадцати часам вечера.

Глава XII

Легко можно себе представить, с каким нетерпением я ожидал прихода Дези. Мысль, что ее могут поймать, задержать и тогда весь наш план рухнет, наполняла меня страхом и трепетом; наконец, около полуночи я услышал на бульваре легкие шаги. Она переходила через полосу света и я узнал ее по красному плащу с капюшоном, который она надевала на голову, когда после представлений выходила раскланиваться с публикой.

— Насилу выбралась! — говорила она, задыхаясь от скорой ходьбы, — так долго Лаполад ворочался и стонал, точно тюлень, и потом мне хотелось попрощаться с Мутоном. Бедный зверь, как он будет без меня скучать! Все ли ты захватил, Ромен?

— Теперь некогда проверять вещи, кажется все, — отвечал я, — нас могут хватиться, а потому надо поскорее выбираться за город.

— Ну, хорошо, пойдем, но прежде всего дай мне твою руку.

— Зачем это? — спросил я с удивлением.

— Для того чтобы ты положил ее в мою; поклянемся в дружбе на жизнь и на смерть. Хочешь так?

— Отчего же, пожалуй, — отвечал я довольно равнодушно.

— Тогда дай твою руку и говори за мной: — «Клянемся помогать во всем друг другу на жизнь и на смерть».

При этом она так сжала мою руку, что я в свою очередь тоже растрогался.

В городе царствовали мрак и тишина; вода в фонтане тихонько журчала на площади, точно бежал ручеек, да еще фонари от порыва ветра бросали огромные тени на мостовую улиц, да время от времени поскрипывали ставни у окон, ветер начинал сильно их раскачивать.

Мы шли быстро, оглядываясь, точно за нами кто гнался...

Вскоре мы вышли за городские стены и очутились в поле, я шел немного позади, и мне показалось, что она несла что-то под своим плащом в левой руке. Так как весь багаж я взвалил на себя, то что же бы это могло быть?

— Это моя резеда, — ответила она на мой вопрос, откидывая полу.

В руке у нее был маленький горшочек, завернутый в золоченую бумагу. Она всегда ухаживала за этим цветочком, он стоял у одного из окон кибитки, и за него ей часто попадало от хозяев.

— Зачем ты это захватила с собой? — спросил я, немного раздосадованный этим ненужным багажом, когда и нужное-то было так трудно нести.

— Что же, лучше было ее бросить, чтобы она погибла? Довольно одного Мутона. Бедный Мутон, мне уж приходило на мысль увести его вместе с нами. Если бы ты видел, как он на меня смотрел, когда я с ним прощалась; наверное, он догадывался, что происходит что-то для него недоброе.

Увести Мутона на поводу. Эта идея мне показалась очень забавной, точно собаку, я не мог не рассмеяться при воображении этой картины. Дези хотела, чтобы мы разделили багаж поровну; я с трудом мог уговорить отдать мне большую часть как мужчине и более сильному.

Ночь была свежая; звезды ярко сияли на темно-голубом небе; в равнине все было погружено в сон; ни ветерка ни звука. Птицы и насекомые затихли и не трещали в траве, как летом. Только время от времени, когда приходилось проходить мимо жилья, собаки выскакивали и долго провожали нас неутомимым лаем.

При этом на их лай откликались из соседних дворов другие, и они перекликались до тех пор, пока мы окончательно не ушли вдаль.

Чтобы защитить себя от преследования, если бы Лаполаду вздумалось послать за нами

погоню, мы должны были идти всю ночь не отдыхая. Я боялся, что Дези не выдержит этого перехода, но она не отставала от меня ни на шаг и только к утру пожаловалась на усталость. Мы прошли через несколько сонных деревень и очутились в пяти лье от Блуа. Это число верст мы прочитали на столбе при бледном свете пробуждающегося дня. Петухи стали перекликаться в курятниках; в домах замелькали огни, стали открывать ставни. Поселяне шли медленным шагом в поле, на осенние полевые работы.

— Теперь отдохнем немного, — предложила девочка, — мне не так страшно, как ночью.

— Разве ты боялась?

— Да, очень, с самого выхода нашего за город.

— Чего же ты боялась?

— Тишины, всего... Я не люблю ночи, потом эти тени по дороге, то длинные, то убегающие вдаль, это так пугает. У меня сердце замирало, и хотелось бежать от них.

Мы присели у дороги позавтракать нашими корочками хлеба. День занимался хмурый и сырой. Нас со всех сторон окружала голая равнина; кое-где из-за группы деревьев виднелось жильё. Свежевспаханые поля чередовались с остатками жнивья, но травы и вообще зелени нигде ни признака, всюду одна черная земля.

Стаи ворон медленно расплывались в воздухе, садились на обнаженные деревья и начинали зловеще каркать. Позавтракав, пошли дальше, но после двух лье Дези не могла больше идти. Я кое-как устроил ей из попоны постель, и она проспала целых пять часов кряду. Меня все время заботила мысль, где нам ночевать? Я испытал, что значит спать под открытым небом, тогда даже, когда в воздухе тепло. Каково же будет теперь, когда настал холод. Необходимо было идти, не останавливаясь, до тех пор, пока не найдем хорошо защищенного и укромного местечка. К четырем часам пополудни мы добрались до стены заброшенного парка; ветер нанес сюда целую гору сухих листьев, на которых и можно было кое-как провести ночь. Поэтому мы здесь остановились. Я набрал еще в лесу несколько охапок сухих листьев и прибавил к тем, что лежали кучей у стены, затем воткнул в землю четыре палки, накрыл их попоной на случай дождя; образовался род шалаша, которым Дези осталась очень довольна. Ей это было внове и даже забавно, точно шалаш в лесу.

— Как жаль, что у нас нет ни масла, ни крупы, я могла бы сварить суп и поджарить к нему корочки на масле, какой бы у нас был чудесный ужин, точно в сказке «Мальчик с пальчик», — заметила она.

Это были мечты, а пока пришлось поужинать сухими корками хлеба и запить их водой с вином. Когда последний розовый луч солнца угас на горизонте, птицы в чаще деревьев замолкли, тени окутали лес и поле, веселость Дези мигом прошла, она снова начала бояться.

— Тебе хочется спать? — спросила она меня.

— Пока еще нет.

— Если можно, не спи хоть немного, пока я не засну, мне не будет тогда так страшно.

Мы были недурно защищены попоной; через дырки к нам светили звезды, и хоть все в природе уснуло, все же были слышны какие-то неясные ночные звуки, которые мы никак не могли себе объяснить, а это мешало нам заснуть.

Долго Дези ворочалась от страха, наконец усталость одолела и ее, — она заснула, я вскоре последовал ее примеру.

Мои опасения ночного холода оказались вполне основательными, к утру мы от него-то именно и пробудились.

— Тебе холодно? — спросила меня Дези, — я совсем замерзла.

Но помочь этому горю никак было нельзя, пришлось терпеть и постараться снова заснуть в ожидании рассвета.

Несмотря на все старания, мне это не удавалось, меня с головы до ног колотила лихорадка. Кроме того, вблизи нашего ночлега раздавались какие-то неясные звуки, точно кто-то ходил, или же мириады насекомых шевелились в сухих листьях.

— Ты слышишь? — сказала Дези испуганным голосом.

При всем желании ее успокоить я не мог ответить отрицательно, кроме того, и сам начинал сильно бояться. Я только для виду храбрился, чтобы ее не напугать; один я бы, наверное, пустился бежать отсюда.

С полчаса мы сидели не шевелясь, еле дыша от страха. Слышно было, как зубы Дези стучали; наша постель из листьев дрожала вместе с нами, а треск в парке все продолжался. Эти неизменно однообразные, хоть и необъяснимые звуки, немного успокоили меня. Если бы это был зверь или человек, то они бы непременно менялись, значит, это не так опасно.

Я немного приподнял попону; лунный свет освещал окрестность, все было так же, как и вчера, ничего нового. Я немного осмелился протянуть руку и ощупал листья, они были холодны как лед и слиплись. Иххватило морозом. Значит, это трещал мороз. Это нас успокоило, но не согрело, наоборот, нам показалось, что стало еще холоднее. Вдруг Дези быстро вскочила на ноги.

— Что с тобой случилось? — спросил я с удивлением.

— Моя резеда, моя резеда, что с ней будет, она замерзнет и умрет!

Она схватила горшочек в руки и прижала к себе, чтобы отогреть цветок.

Который же это мог быть час? Начинаясь ли предраассветный день, или же все длилась бесконечная ледяная ночь? Луна закатилась, но я не знал, в котором часу она должна была заходить.

Дольше лежать становилось невыносимо, как мы ни старались прижиматься друг к другу, но холод пронизывал нас до костей. Мы решили встать и снова идти, чтобы согреться на ходу.

Нам нужно было сняться с якоря и взвалить на себя все пожитки; тут явилось новое затруднение: Дези непременно хотела нести резеду, закрывши ее плащом, под мышкой, а это мешало ей нести остальной багаж. Я было предложил бросить жалкое растение; на это предложение она вспыхнула и рассердилась. Я не стал настаивать, но на душе у меня было прескверно.

Вот мы и на большой дороге, полумертвые от холода, думалось мне, что-то будет дальше? Путешествие наше начиналось очень несчастливо, о будущем я боялся думать, не только говорить с Дези, хотя она опять подбодрилась и весело шагала вперед. Пройдя с час времени, мы услышали, что где-то вдалеке запел петух, значит скоро рассвет, и люди близко. От скорой ходьбы мы согрелись, и даже стали высмеивать друг друга по поводу наших ночных страхов; немного поспорили и решили на том, что хотя я похрабрее ее, зато она была благоразумнее, чем я, и спокойнее.

Из страха, чтобы Лаполад не вздумал за нами гнаться по дороге в Париж, мы немного переменили направление, и повернули на Шартр, по моей карте крюк был невелик, а все-таки осторожность не мешала в нашем и без того критическом положении. К вечеру мы миновали Шато-ден, среди дня было очень тепло, но к вечеру снова начался холод.

— В случае, если у нас выйдут все деньги, — говорила Дези, — я буду петь и танцевать в деревнях, кое-что заработаю.

Она была так уверена в своих силах, эта маленькая энергичная девочка, что от ее слов и мне становилось легче на душе.

Но заработок такого рода легче на словах, чем на деле. Мы в этом очень скоро убедились, а равно и в том, как быстро уплывал наш запас денег и провизии.

В двух лье от Шато-ден нас пустили на ночь в гостиницу, причем спросили сорок су за ночлег, да еще надо было объяснить, кто мы, откуда и куда идем; к счастью, я сочинил на всякий случай историю, будто содержатель цирка послал нас вперед в Шартр, чтобы нанять место для представлений, что труппа наша находится поблизости и придет вслед за нами завтра или послезавтра.

Ни я, ни Дези не любили и не привыкли лгать, и нам было очень тяжело сочинять подобные истории, которые унижали нас в наших собственных глазах. Что же было делать, однако, когда тяжелая необходимость принуждала нас прибегать к этому противному средству. Из Шато-дена в Шартр дорога пересекается пустынными равнинами, по которым

изредка рассеяны деревушки, но по самой проезжей дороге совсем нет жилья.

Достигнув Бонваля, довольно большого местечка, мы надеялись, что тут кое-что заработаем, но бонвальцы не очень-то расщедрились, и мы заработали всего три су, при этом какой-то господин вылил на нас чашку теплой воды после бритья, а собака мясника разорвала Дези юбку. Уличным певцам трудно достается заработок!.. Но Дези и тут не пала духом.

— Если бы у меня был волк, а у тебя флейта, тогда другое дело, — говорила она, — мы могли бы заработать много больше.

Неудачи ее не раздражали и не обескураживали, у нее была масса терпенья. К счастью, вечером нам не пришлось платить за ночлег, потому что одна добрая фермерша позволила нам переночевать в своей овчарне, где было очень тепло. Барашки и овцы нагрели ее отлично, и это была самая счастливая для нас ночь во всю дорогу.

На другой день, когда мы собирались уходить, фермерша собиралась на базар в Шартр, она сжалилась над худенькой и усталой девочкой и предложила ей место в своей повозке, но Дези отказалась, при этом так выразительно посмотрела ей в глаза, что фермерша поняла ее нежелание оставить меня одного и посадила нас обоих в тележку.

Таким образом, мы подвигались понемногу вперед, ночуя то на ферме, то на постоялом дворе, то в каком-нибудь пустом сарае, а днем шли до изнеможения и очутились, наконец, в маленькой деревушке близ Биевра, всего только в трех лье от Парижа. Это было наше великое счастье; у нас оставалось всего одиннадцать су; башмаки Дези разорвались по всем швам; кроме того, она себе натерла ногу и ходьба причиняла ей мучительную боль, особенно когда после небольшой остановки нам приходилось двигаться дальше. Оба мы до того устали, что нам казалось, будто у нас пуды на ногах.

Правда, Дези никогда не жаловалась и утром всегда первая готова была идти в дорогу. С капиталом в одиннадцать су мы в эту последнюю ночь не рискнули зайти на ночлег в харчевню; случайно встретившийся каменолом позволил нам проспать ночь у него в конюшне.

— Завтра надо нам встать пораньше, — сказала Дези, это день св. Евгении, имя моей матери, и я хочу поздравить ее и отдать ей в подарок мою резеду.

Бедный цветочек. Он имел самый жалкий вид; он весь съезжился, почернел, но все же он был еще жив и несколько зелененьких листиков напоминали о его, бывшей когда-то, свежести.

Мы пошли в путь на рассвете, как только хозяин отворил конюшню, чтобы вывести лошадей на водопой.

До сих пор погода благоприятствовала нам; днем было довольно тепло, только ночи напоминали позднюю осень. Но в этот день, когда мы вышли из конюшни, нам показалось обоим так холодно, как еще ни разу не было. Небо заволокли тучи, не было видно ни одной звездочки. Со стороны востока вместо алых полос утренней зари, как бывало раньше, мы видели одни свинцовые низко бегущие облака. Северный ветер обрывал и крутил в воздухе последние листья с обледенелых за ночь деревьев и кустарников. Он с такой силой кружил вихрем по дороге, что мы с трудом могли подвигаться вперед. Дези едва удерживала полы своего плаща, прикрывая им резеду.

Начинался день мрачный, даже зловещий. «Солнце отдыхает сегодня, тем лучше, по крайней мере, наши грязные лохмотья не будут так видны». Дези умела находить во всем хорошую сторону, даже в отсутствии солнца.

— Не беспокойся, их славно обмоет сегодня дождем, раньше чем мы дойдем до Парижа, — ответил я.

Я предсказывал дождь, но нас захватил снег. Сначала он падал едва заметными снежинками, потом с каждой минутой снежинки увеличивались и, наконец, закружились тяжелыми хлопьями над нашей головой. Пронзительный ветер, вместе со снегом, дул нам прямо в лицо и слепил глаза, так что мы с трудом могли пройти одно лье. Дорога шла небольшим лесом, приходилось укрываться под деревьями, потому что далеко кругом не

было видно жилья. Несмотря на наше страстное нетерпение добраться поскорее до Парижа, мы не в силах были двигаться дальше под порывами снежного вихря.

Можно было защититься от снежной бури на откосах ям, наполненных хворостом, сухими листьями. Мы не замедлили укрыться в одной из таких ям, забившись как можно дальше, и она довольно долго защищала нас от снежной бури. Но снег под порывами ветра стлался, как облако, по земле и скоро, покрыв весь откос, достиг и до нас. Он забивался нам за шею, в сапоги, и таял, отнимая последние остатки тепла.

Мы пробовали укрыться лошадиной попоной, но ветер живо сорвал и ее. Наши платья, или, вернее, лохмотья, мало защищали нас от холода. Дези вся посинела, зубы у нее стучали, она прижалась ко мне, но я сам дрожал, как лист, и не мог ее согреть. Снег таял на мне, но я был весь мокрый, точно выкупался в реке. Часа два мы оставались в этом безвыходном положении, а ветер все не унимался; снег продолжал засыпать нас и сверху и снизу.

Дези все еще не решалась расстаться со своей резедой, она прижала горшочек к сердцу под полую плаща, однако снег проникал и туда. Когда же она увидела, что в горшочке вся земля белая, она протянула мне растение.

— Что ты хочешь, чтобы я с ней сделал? — спросил я.

— Постарайся мне ее спасти, как можешь, а то она замерзнет.

Меня рассердило, что в такую тяжелую минуту Дези способна думать и заботиться об этом засохшем цветке. Я пожал плечами и указал на полузамерзшие пальчики, которыми она держала горшок.

Тогда Дези, в свою очередь, рассердилась и сказала:

— Зачем ты сразу не потребовал, чтобы я ее бросила?

Мы были в таком расположении духа, когда поссориться очень легко, а потому обменялись несколькими колкостями. В первый раз за время нашего пути оба замолчали и стали с отчаянием глядеть на не переставший падать снег.

Вдруг я почувствовал, что она тихонько пожала мне руку, а потом сказала с грустью:

— Хочешь, я сейчас же ее брошу?

— Разве ты не видишь, что она уже умерла, ее листочки совсем почернели и завяли.

Она ничего не ответила на это, но на глазах навернулись крупные слезы:

— О, мама, — прошептала она с тоской, — значит я ничего не принесу тебе в подарок!

Это восклицание так меня растрогало, что я взял горшочек в руки. — Ну уж понесем дальше, все равно... — прошептал я в ответ.

Хотя снег продолжал падать, но ветер утих. Незаметно он прекратился совсем, зато на земле образовались сугробы, да такие, что доходили нам до колен, точно снег хотел медленно нас поглотить и покрыть сверху белым саваном.

Это продолжалось с час. Деревья погнулись под тяжестью снега. На нашей попоне, которая все же кое-как нас защищала, навалило несколько футов снегу. Прижавшись друг к другу, мы не шевелились и не говорили. Холод совершенно парализовал нас, мы даже не сознавали опасности своего положения. Наконец снег стал уменьшаться и совсем перестал падать. Небо было свинцовое, и только земля сверкала ослепительной белизной.

— Пойдем дальше, — сказала первая Дези.

Мы снова вышли на дорогу. По-прежнему ничего не было видно, ни проезжих, ни домов. Единственные живые существа — сороки, усевшись на деревьях и на кучках хвороста, неистово трещали, точно издевались над нами и над нашим положением. Мы продолжали идти и наконец дошли до какой-то деревни, поднявшись на вершину холма, тут мы увидели точно облако дыма, нависшего над огромным городом.

Этот город необъятных размеров неясно виднелся вдали, до нас доходил издали его шум, точно глухой ропот моря.

— Вот наконец и Париж! — радостно воскликнула Дези.

Мы почувствовали, что близость к цели сразу придала нам силы, даже казалось не так холодно, как прежде.

По дороге стали беспрестанно попадаться телеги и повозки, едущие в Париж.

Но мы все еще не пришли в него, наоборот, спустившись с холма на равнину, мы не видели более панорамы города, и мысль, что до него на самом деле еще далеко, а только кажется близко, опять нас обескуражила и мы совсем обессилели. Мы спотыкались на каждом шагу и почти не двигались вперед.

От мокрого платья шел пар, а от воды оно стало вдвое тяжелее. Снег по дороге становился все чернее, грязнее и, наконец, превратился в грязь и в потоки мутной воды.

Дези, несмотря на всю присущую ей энергию и выносливость, должна была приостановиться; пот градом катился по ее лицу, и она сильно хромала. Я смел полой снег с лавочки у одного дома и посадил ее отдохнуть.

— Спроси, Ромен, долго ли нам еще идти до Парижа, спроси вон у того проезжего, что идет за возом сена.

— Вам до какого же места в Париже надо идти?

— До большого рынка.

— Тогда вам осталось еще добрых часа полтора, да, никак не меньше, — ответил он.

— У меня не хватит сил столько пройти, — упавшим голосом проговорила девочка.

Я со страхом посмотрел на ее посиневшее лицо и тусклые глаза, и дышала она тяжело, как больная. Я принужден был чуть не насильно поднять ее с лавочки, где нас снова пронизал насквозь холод.

Она была не в силах идти дальше.

— Дези, подумай, мама твоя так близко, еще немножечко потерпи, милая. Мы сейчас придем к ней, зачем нам тащить наш скарб, я брошу его тут у скамейки, а ты обопрись хорошенько мне на руку и пойдем потихоньку вперед.

Эти слова и мысль о близости матери придали ей силы; она покорно оперлась на мою руку, мы снова поплелись.

— Ах, как хочется поскорее прийти, у меня кружится голова, я еле стою на ногах, но как подумаю, до чего мамаша нам обрадуется, — как она нас расцелует, даст нам поесть горячего супу, пирожков, так себя не помню от радости; только бы добраться домой, а наговорившись с ней, я лягу и целую неделю не буду вставать, все буду спать, спать и отдыхать, ты увидишь...

У заставы я спросил, куда нам идти к рынку. Нам показали все прямо, до Сены. Улицы Парижа в это холодное зимнее утро были покрыты такой липкой грязью, что даже на большой дороге было чище и не так скользко идти. Прохожие останавливались и с любопытством и состраданием смотрели на нас, потому что среди уличной толпы, шума и движения экипажей мы имели вид двух мокрых, общипанных птичек, выпавших из гнезда и потерявших к нему дорогу.

Придя к Сене, мы опять спросили дорогу. Нас направили к Новому мосту и, наконец, мы добрались до церкви св. Евстафия.

Когда перед нами очутился циферблат башенных часов, я почувствовал, как все худенькое тело Дези задрожало от волнения.

— Часы! — воскликнула она, — часы! Помнишь, о которых я тебе говорила, что были напротив наших дверей.

Но это была лишь минутная радость.

— Часы-то здесь, но где же дом? Я не вижу его больше!

Мы обошли церковь кругом.

— Нет, мы ошиблись, это не та церковь и не те часы. Это не св. Евстафий, нашего дома нет напротив входа.

Я снова спросил у прохожих, какая это церковь? Мне отвечали то же самое, — что это церковь св. Евстафия.

Дези смотрела вокруг глазами полными отчаяния, она искала всюду места, которые остались в ее детской памяти, и не находила их.

Волнение отняло у нее голос, и она задыхаясь шептала.

— Это не то, это не то.

— Обойдем все соседние улицы, которые выходят на рынок, — предложил я.

Она пошла за мной как лунатик во сне, молча, но видно было, что разочарование и горе окончательно ее пришибли.

Она не узнавала ни одной улицы. Против самой церкви находилась большая площадь, на которой несколько домов были разрушены до основания, и рабочие убирали кирпичи и мусор.

— Наверное, наш дом стоял тут, и он тоже разрушен, — говоря это, она закрыла лицо руками и громко зарыдала.

— Пойдем спросим, — утешал я ее, может быть, кто-нибудь помнит и поможет нам.

— Но что же мы спросим? Названия улицы я не знаю и не помню, имени мамы тоже не знаю, одно, что я бы узнала наверное, это дом, а его нет, и нигде нет...

Все наши надежды разрушились! Наверное, люди постарше нас и посильнее растерялись бы при этом новом неожиданном ударе судьбы, мы же стояли и смотрели перед собой растерянные, подавленные неожиданным несчастьем, не зная, куда идти и что предпринять дальше. Прохожие немилосердно толкали нас локтями, некоторые останавливались, с минуту глядели на этих двух жалких, оборванных, голодных и замерзших детей, с видом отчаяния разглядывающих окружающие улицы и дома, и шли себе дальше.

Менее разочарованный и огорченный, чем Дези, а главное менее утомленный, я первый пришел в себя, взял ее за руку и повел в здание рынка, где продавались овощи и всякого рода съестные припасы. В углу нашелся пустой ящик, на который мы и присели. Она двигалась машинально, как дурочка, без смысла, озираясь кругом. Я и сам не знал, что ей сказать. Она была бледна как смерть, и дрожала с головы до ног.

— Тебе дурно?

— О, мама, мама! — и снова крупные слезы покатались градом из ее потускневших глаз.

Жизнь на рынке кипела ключом; люди сновали непрерывной толпой, покупали, продавали, торговались и даже бранились, все как всегда бывает на базаре.

Вокруг нас собралась немедленно кучка народу: двое детей, из которых девочка неутешно плакала, привлекли любопытных.

— Что вы тут делаете, — спросила нас толстая торговка, около лавочки которой мы уселись.

— Мы присели отдохнуть.

— Здесь для этого не место.

Не говоря ни слова, я встал с ящика, взял Дези за руку, чтобы уйти. Куда? Увы, я и сам не знал. Но бедняжка посмотрела на меня с выражением такой страдальческой усталости, что даже толстая женщина сжалилась над ней.

— Ты видишь, малютка слишком устала, а ты хочешь ее еще куда-то тащить.

Слово за слово, я рассказал, зачем и как мы очутились на рынке, то есть, что мы рассчитывали найти здесь мать девочки, а дом, в котором она жила когда-то с матерью, оказался разрушенным и следа от него не осталось.

— Вот так история! — воскликнула добрая женщина, всплеснув руками. Она позвала своих соседок. Вокруг нас собрались торговки.

— Так ты не знаешь ни имени матери, ни названия улицы, — сказала мне толстая женщина, когда я окончил свое горестное повествование.

— Соседки, не помнит ли кто из вас эту историю, хозяйка бельевого магазина, у которой пропала дочка и она жила против церкви?

Тогда начались расспросы, воспоминания, споры, но все они ни к чему не привели. Прошло восемь лет, никаких определенных указаний с нашей стороны не было. Часть улицы, где находились разрушенные дома, уже давно перестраивалась. Бельевых магазинов перебивало в окрестности сотни, который из них принадлежал матери Дези, и куда она сама скрылась, никто не мог сказать. Где искать?

Во время всей этой сутолоки девочка побледнела еще больше, озноб у нее увеличился,

зубы стучали.

— Вы видите, ребенок совсем замерз, — сказала одна из женщин, — пойдй, мое сердечко, присядь к моей грелке².

Она повела нас в свою лавку, две-три женщины вошли следом за нами, а остальные вернулись к своим текущим делам.

Она не только обогрела нас и обсушила, но дала по чашке горячего бульона, который сразу подкрепил нас обоих, и на прощанье сунула мне в руку 20 су.

Для небогатой женщины это была достаточно большая милостыня, но в нашем нищенском положении сумма эта представляла каплю в море нужды. Куда идти теперь, что делать дальше? Мой путь был ясен — направляться в Гавр и там наняться на корабль, но Дези? Что делать с ней, куда она пойдет? Она так живо сама чувствовала весь ужас своего будущего, что едва мы вышли на улицу, первое ее слово было:

— Куда же мы теперь пойдём?

Перед нами была церковь св. Евстафия. Снег опять начал идти и на улице было невыносимо холодно.

— Войдем туда, — предложил я, показывая на церковную дверь. Мы взошли, в церкви было так чисто и тепло, и кроме двух-трех коленапреклоненных фигур у алтаря никого не было. Мы пошли в самый дальний, темный угол. Дези стала на колени и, закрыв лицо руками, тихо шептала: «О, Господи, Господи, помоги мне».

Я сначала стал рядом с ней. Но вместо молитвы меня вдруг осенила новая мысль.

— Послушай, Дези, — проговорил я ей шепотом, — так как, по-видимому, ты больше не можешь никогда найти твою маму, тогда пойдём к моей.

— В Пор-Дье?

— Ну да! Ты же не захочешь вернуться снова к Лаполаду? Довольно с тебя балагана! Но тогда надо идти к моей маме. Она добрая, я знаю, что она тебя примет. Ты будешь работать вместе с ней. Она научит тебя гладить кружева и белье. Ты увидишь, что она тебя полюбит! Да и я буду покойнее, зная, что мама не одна без меня осталась на свете. Ей будет не так скучно с тобой. И если бы она заболела, ты будешь за ней ухаживать. Не правда ли? Вам обеим вместе будет лучше.

Дези искренне обрадовалась моему предложению; лицо ее сразу оживилось и говорило выразительнее всяких слов. Эта радость доказывала, как живо она сознавала весь ужас своего положения; она сделала только одно возражение.

— А вдруг твоя мама не захочет принять меня к себе в дом?

— Почему же?

— Потому, что я играла в балагане.

— А я! Разве я меньше твоего ломался перед публикой, когда лазил на палку, и чуть не убился до смерти?

— Ты — мальчик, а потому это совсем другое... — грустно ответила она.

Однако принятое решение сразу нас успокоило, хотя мы понимали, как трудно было нам теперь попасть из Парижа в Пор-Дье! Но все же будущее рисовалось нам вполне ясным и светлым. Только настоящее было ужасно...

Я не умел хорошенько определить расстояние, но я понимал, что нам страшно далеко идти до дому. Когда я решился бросить в Монруже весь наш багаж, то тогда мы представляли собой корабль, который бросает груз в море, чтобы самому не пойти ко дну. К счастью, уцелела карта, я вытащил ее из кармана, разложил на одном из церковных стульев, и стал внимательно рассматривать. Чтобы выйти из Парижа, надо было идти вдоль Сены.

Это первое, а дальше я буду постепенно изучать дорогу.

Но как идти в такую дальнюю дорогу без обуви, без платья, потому что лохмотья наши

² За границей везде употребляются зимой для ног металлические жаровни, куда кладут угли и на решетке греют ноги, когда очень холодно.

еле держались на теле, и с двадцатью су в кармане? При этом мы дошли до крайней степени усталости, особенно Дези, которая, очевидно, серьезно заболела. Она все время то краснела, то бледнела, ее была сильнейшая лихорадка. Как riskовать провести еще ночь на таком холоде; возможно, что опять пойдет снег. Что же мы будем делать ночью, когда мы днем едва не замерзли на большой дороге?

— Можешь ли ты идти дальше? — спросил я ее.

— Я сама еще не знаю; когда я шла в Париж, то все время ждала, что увижу свою маму, а это давало мне силы. А твою маму я ведь никогда не видела и не знаю, а это совсем другое дело.

— Что вы тут делаете? — спросил позади нас грубый голос.

Карта была разложена перед нами на стуле, ясно, что мы не по ней читали молитвы.

— Убирайтесь-ка отсюда вон, бездельники!

Пришлось повиноваться и уйти; церковный сторож шел позади нас и выпроваживал из церкви, строго ворча на уличных шалунов, которые приходят в церковь играть, а не молиться. Когда мы вышли на улицу, снегу еще не было, но воздух был совсем ледяной, ветер свистал и обдавал нас ледяной пылью.

Мы снова пошли по той же самой улице, по которой шли сюда. Дези еле волочила ноги; что касается до меня, то, подкрепившись бульоном и погруженный в новые заботы о предстоящих переменах в нашей судьбе, я не чувствовал большой усталости.

Мы не прошли и десяти минут, как Дези остановилась.

— Я не могу дальше идти, — сказала она, — ты видишь, как я дрожу. У меня бьется сердце так, что я дышать не могу, голова кружится и в глазах темнеет. Кажется, я сильно захворала.

Она хотела присесть на тумбу, но подумала с минуту и снова поднялась. Мы подошли к реке и повернули направо; улица была вся покрыта тонким белым слоем инея, от этого река казалась еще чернее. Прохожие плотнее закутывались в свои плащи. Одни дети беззаботно играли на тонком, еле замерзшем льду тротуаров.

— Что, далеко нам еще идти? — спросила Дези, как в забытьи.

— До какого места?

— Чтобы отдохнуть, уснуть.

— Я не знаю сам, пойдём еще! Прошли еще несколько шагов.

— У меня нет больше сил идти, Ромен, — оставь меня здесь умирать, спасайся сам, а меня сведи куда-нибудь в угол, чтобы не здесь, только не на улице...

Мне хотелось одного — вывести ее как-нибудь за город. В деревне мы все же скорее найдем пристанище; какой-нибудь пустой хлев, кирпичный сарай. Может быть, нас пустят на постоянный двор или на ферму.

Громадный город с его толпой на улицах подавлял меня совершенно. Полицейские смотрели на нас так подозрительно и недоброжелательно; я совсем растерялся. Мы почти вышли за город, дома находились только по одной стороне улицы, а по другой — тянулся городской вал, но конца ни ему, ни улице не было видно. Над валом возвышалась городская стена, за которой белелись обледенелые, покрытые инеем, деревья, да время от времени проходили солдаты, плотно закутанные в шинели.

Я почти нес Дези на руках, она от слабости не могла стоять. Несмотря на холод, пот градом катился у меня по лицу и от волнения и от тяжести, непосильной для меня.

Наконец я не мог дальше ее тянуть; пришлось посадить ее посреди тротуара прямо на снег. Я хотел ее поддержать, но она и сидеть не могла, ноги больше ее не держали, и она совсем повалилась на снег, как сноп.

— Все кончено, — слабо прошептали ее побелевшие губы.

Я присел рядом с ней и уговаривал, плакал, просил, — все напрасно, — она совсем потеряла сознание и ничего мне не отвечала, очевидно, даже не понимала ничего из того, что я говорил ей. Одни руки казались еще живыми, они горели, как огонь.

На меня напал ужас; прохожих никого, я стал на ноги и вглядывался в свинцовую даль.

Ничего не было видно вдаль, кроме каменной линии городских стен, а посередине улицы снег.

Я хотел ее нести, она не шевелилась и лежала, как мертвая. Попробовал пронести на руках несколько шагов, но тяжесть оказалась мне не по силам; она снова соскользнула на землю. Я сел рядом. Действительно и мне теперь казалось, что нам ничего делать не оставалось больше, как только умереть на этой пустынной улице от холода и голода. Прошло несколько отчаянных минут, я наклонился к ее лицу: сознание ее еще не вполне угасло, она прижалась к моей щеке дрожащими и холодными, как у мертвеца, губами, точно хотела со мной проститься!

Сердце у меня замерло от жалости и страха, а горячие слезы так и брызнули из глаз. Я опять стал надеяться, что она отдохнет немного и к ней вернуться силы, тогда мы будем в состоянии двигаться дальше. Однако Дези продолжала лежать без движения, с закрытыми глазами, опершись на меня, и если бы не легкая дрожь, которая пробегала по ее лицу и телу, я бы подумал, что она уже умерла.

Два или три прохожих остановились, удивленно посмотрели на нас, в недоумении покачали головой и пошли дальше. Я решил после этого сам обратиться за помощью к первому же человеку, которого только увижу издали. Это оказался полицейский; он спросил меня, зачем мы сидим посреди дороги на снегу и не двигаемся с места? Я отвечал, что моя маленькая сестра заболела дорогой и не может больше идти.

Полицейский стал меня расспрашивать, кто мы такие и куда идем?

Предвидя возможность таких расспросов, я заранее приготовил правдоподобную историю; идем мы к своим родителям в Пор-Дье, на берег моря, в Бретань. И находимся в пути целых десять дней. Он с состраданием покачал головой.

— Но ведь этот больной ребенок может тут умереть. Пойдемте скорее со мною до полицейского дома.

Однако же и он убедился, что Дези не могла не только подняться, но даже пошевелиться. Делать было нечего, он взял ее на руки и велел мне идти следом. Минут через пять к нам присоединился на его свисток второй полицейский, который и помог ему нести больную девочку. Вскоре мы подошли к дому, у ворот которого горел красный фонарь. В большой комнате вокруг топившейся печи сидело еще несколько человек полицейских.

Так как Дези не могла отвечать ни на один вопрос, то я снова рассказал им свою историю.

— Мне думается — не умерла ли она, дыхания почти не слышно! — сказал один из присутствующих.

— Может быть, не совсем еще, но близко к тому, — отвечал тот, который нес ее дорогой, — во всяком случае надо бы ее отправить поскорее в центральное бюро.

— А что ты будешь делать, мальчуган? — обратился ко мне первый, — есть ли у тебя средства к существованию?

Я смотрел, не понимая вопроса.

— Есть ли у тебя какие-нибудь деньги?

— У меня есть двадцать су!

— Хорошо, постарайся выбраться из города сегодня же вечером, а то тебя арестуют как маленького бродягу и посадят в тюрьму.

Дези влили в рот несколько капель вина, положили на носилки, покрыли теплым одеялом и понесли.

Я был потрясен. Я все еще не мог себе представить, чтобы она была так сильно больна и хотел убедиться, так ли это? А если меня самого арестуют и сведут в тюрьму, что тогда будет со мной? Несмотря на весь ужас перед этой возможностью, я все же пошел вслед за носилками. Я упросил этих людей позволить мне идти и узнать в конце концов, что станет с бедняжкой?

Мы шли довольно долго, перешли мост через Сену и, наконец, остановились на

площади, посреди которой возвышалась большая и прекрасная церковь. Полицейские сжалились надо мной и позволили войти в большое здание вместе с ними. Открыли носилки, Дези лежала теперь красная, как огонь.

На все вопросы она только металась и стонала; мне пришлось в третий раз рассказать о наших приключениях. Доктор, одетый в черное платье, внимательно выслушав меня, проговорил:

— Чрезмерная усталость, простуда, воспаление в легких. Поместите ее в Больницу Иисуса.

Он написал несколько слов на листике бумаги, отдал полицейскому и мы пошли дальше. По скользкому снегу нельзя было скоро идти; во время остановки я подходил к носилкам и, наклонившись, говорил несколько слов Дези, но она и мне ничего не отвечала.

Мы шли минут двадцать и, наконец, в одной из малолюдных улиц остановились перед дверью, выкрашенной в зеленую краску, дверь открыли на наш звонок и впустили нас в полутемную залу; к нам подошли какие-то люди в белых передниках, оказавшиеся санитарями. Они взяли Дези на руки и отнесли в палату св. Карла. Там ее осмотрел доктор и поручил сестре милосердия ухаживать за ней.

Я остался один, голодный, холодный, и решил, по совету полицейского, уходить из города. Но куда идти, где искать помощи?

Стараясь не попадаться больше стражам порядка, я темными улицами стал пробираться к окраине города и какое-то время спустя оказался в таком глухом, темном и страшном месте, что мне стало жутко. Но тут неожиданно ко мне подошел какой-то человек, которого в темноте я никак не мог разглядеть — добрый ли, злой ли он человек, и что-то спросил. Я не мог сразу понять, о чем он меня спрашивает, как вдруг узнал в нем Бибоша, с которым мы вместе играли в Фалезе. Я страшно обрадовался ему, хотя мы с ним и не дружили, но все-таки это был не чужой человек. Он сказал, что вместе с другими своими товарищами обитает здесь недалеко, в каменоломне, и повел меня туда.

В самом деле, вскоре я увидел мерцание огня, который слабо освещал внутренности каменоломни. У тлеющих на жаровне углей лежал растянувшийся мальчик приблизительно одних с нами лет.

— Больше из «своих» никого нет? — спросил его Бибош.

— Никого.

— Хорошо, а вот я привел еще товарища, надо раздобыть ему сапоги, ему в них большая нужда.

Мальчик поднялся, ушел куда-то, и через минуту вернулся с кучей самой разнообразной обуви. Можно было подумать, что мы пришли в сапожную лавку.

— Выбирай, — сказал Бибош, — не стесняйся, как видишь — выбор большой, бери что удобнее и попрочнее, тут все есть, и носки бери, какие тебе впору.

Я не могу выразить, до чего я был счастлив, когда мои больные, насквозь промерзшие ноги наконец согрелись в крепких и теплых чулках и когда я надел сверху новые, удобные башмаки.

Пока я обувался, пришли еще два мальчика, потом пришел третий, четвертый, еще трое, всего девять. Бибош представил им меня.

— Это старый товарищ по балагану, он ловкач и хват. Ну а вы что заработали сегодня, показывайте-ка?

Каждый из пришедших мальчиков стал выворачивать карманы и вытаскивать из них самые разнообразные вещи. Чего-чего тут только не было. Один тащил кусок ветчины, другой бутылку вина, третий холодную индейку. У одного оказался в кармане детский рожок в серебряной оправе, что возбудило общий смех.

— Отлично, — заметил Бибош, ты можешь из него сам попить!

Все уселись вокруг жаровни, прямо на землю. Бибош радушно угощал ужином меня первого. Давно я уже так не пировал, даже дома у матери и у старика Бигореля я не едал таких вкусных вещей. После ветчины мы стали есть холодную индейку, фаршированную

печенку и пирожки. Я до того наголодался за все это время, что мой неумеренный аппетит вызывал всеобщую веселость.

— Отлично, — заметил Бибош, — это весело, нажать товарища, который способен так уписывать.

Мне было не до веселья, но когда я сытно поел, согрелся и отдохнул, мне до того захотелось спать, что глаза слипались.

— Я вижу, ты очень хочешь спать, старина, — сказал Бибош, — не стесняйся, у нас свободно, всякий делает, что ему нравится. Выпей стаканчик пуншу на дорогу, и ступай спать с Богом.

Но я отказался от пунша, что очень удивило всю остальную компанию, и попросил Бибоша проводить меня до места, где я мог бы заснуть.

— Пойдем, я тебя провожу. — Бибош зажег об угли огарок свечи и пошел вперед. Он повел меня через всю каменоломню в боковую галерею. В конце ее я увидел постланную солому и несколько теплых одеял.

— Спи теперь, а завтра мы обо все успеем переговорить. С этими словами он унес свечу. Мне было очень жутко одному в глубине мрачного каменного сарая, размеры которого мне хорошенько не были известны; кроме того, меня очень занимала мысль: кто все-таки мои новые товарищи и откуда они нанесли массу таких вкусных вещей? Все это, даже при моей полной наивности, казалось мне подозрительным. Но усталость превозмогла все остальное. Завтра переговорим обо всем, подумал я, засыпая, и повторяя слова Бибоша. В настоящем у меня был теплый ночлег, я отлично поужинал, кроме того, выдался такой тяжелый денек, что хотелось забыть все, что было. Несмотря на крики и песни товарищей в нескольких шагах от меня, я завернулся в одно из теплых одеял и заснул, как убитый.

На другое утро голос Бибоша разбудил меня, а то бы я, наверно, проспал еще 24 часа.

— Вот твои пожитки, одевайся. — Он бросил возле меня на солому узел с платьем.

Я надел хорошие суконные брюки, шерстяную теплую куртку вместо моего дырявого и мокрого от вчерашней снежной бури платья.

Слабый свет падал сверху в отверстие каменоломни и едва достигал до нас.

— Милый человек, — проговорил Бибош, когда я кончил одеваться, — я об тебе думал сегодня ночью и вот что имею тебе предложить. Ты, как видно, не очень-то смыслишь «в ремесле», если дошел до этого? — он указал на мои лохмотья.

— Я не понимаю хорошенько, в чем дело, о чем ты говоришь? — запинаясь, ответил я.

— Я так и думал, что ты еще новичок, это видно по всему, если пустить тебя в работу одного, ты живо попадешься на крючок. Чтобы избежать несчастья, я пошлю вместе с тобой одного ловкого паренька, а ты будешь служить ему подмастерьем.

Несмотря на все желание скрыть, что я не понимаю значения парижских слов, я признался, что не знаю, что значит «служить подмастерьем».

Бибиш расхохотался. — Ах ты, святая простота, — сказал он. Очевидно, его забавляло мое недоумевающее лицо с открытым от удивления ртом.

— Пойдем сначала позавтракать, а потом я сведу тебя к твоему компаньону, он тебя научит, что надо делать. Только слушайся.

Мы вышли из боковой галереи. Угли давно потухли и нигде не было признака вчерашнего пиршества. Бибош подошел к выступу у стены, куда свет падал широкой полосой и освещал каменные подпорки, свод и груды всюду разбросанных камней. В углублении Бибош взял бутылку вина и остатки ветчины.

— Сейчас мы выпьем вместе с твоим новым компаньоном, он скоро придет, и посвятим тебя в новую должность.

— Не смейся надо мной, пожалуйста, Бибош, — проговорил я, собрав весь свой запас мужества, — я ведь не парижанин, поэтому и не понимаю, что значит служить подмастерьем, объясни мне это сначала толком, какому ремеслу ты собираешься меня учить?

Мой вопрос показался ему до того смешным, что он опять стал хохотать, хватаясь за бока, кашляя и задыхаясь от смеха.

— Господи, что за простофили живут в вашей стороне, чтобы не знать таких простых вещей! Подмастерье, или ловкач, это значит мальчик увертливый, проворный, одним словом, смысленный парень. Ты, может быть, тоже не знаешь, каким образом купцы запирают лавки, когда уходят обедать к себе на кухню?

После этого вопроса я окончательно стал в тупик и ответил, что действительно не знаю.

— Это делается с помощью засова, — отвечал Бибош, передавая мне бутылку, половину которой он опрокинул себе в рот, — засов поддерживается пружиной, соединенной со звонком. Если кто-нибудь входит в лавку, ему необходимо отодвинуть засов, тогда звонок звонит, и купец, который спокойно себе обедает на кухне или за перегородкой в глубине лавки, слышит, что кто-то без него вошел. Теперь понимаешь, для чего служит ловкач?

— Нет, не понимаю, разве для того, чтобы исполнять обязанность звонка, если сломают прибор?

Тут Бибош залился таким припадком смеха, что не мог усидеть на месте, а прямо повалился на землю и продолжал хохотать, как сумасшедший. Наконец кое-как пришел в себя, вытер глаза, на которых от смеха навернулись слезы, затем дружески хлопнул меня по спине.

— Если ты сочинишь еще что-либо подобное, я умру от смеха. Вместо того, чтобы заменять звонок, ловкач должен помешать звонить: дело это обрабатывают вдвоем: подмастерье пересаживают через засов, затем он ползком пробирается к выручке, вынимает оттуда деньги, передает их товарищу, который сторожит на улице, вот купец и обчищен! Кажется, ясно!

Я был оглушен.

— Но ведь это будет воровство, не правда ли?

— Конечно, так что ж из этого?

— Значит и ты вор?

— А разве ты не то же самое, что и мы? Пусть я вор, а ты дурак!

Я не отвечал. Все что вчера мне пришлось видеть, представилось теперь в ином свете, и я понял, что Бибош прав, я вправду недогадлив, как круглый дурак.

Между тем приходилось на что-нибудь решаться.

— Нет, — сказал я решительно, — на такое дело я пойти не могу.

На этот раз он не только не рассмеялся, а, наоборот, страшно разозлился.

— Значит ты меня надул, чего доброго ты нас еще выдашь, если я выпущу тебя отсюда? Так нет же! — вскричал он, — ты не донесешь, потому что я тебя не выпущу!

— Я сейчас же ухожу, — ответил я.

Едва я успел произнести эти слова, как он бросился на меня, и мы стали бороться. Он был ловчее и увертливее меня, зато я был сильнее. Борьба длилась недолго. После первого неожиданного натиска, когда он повалил меня на землю, я оправился, и в свою очередь так ловко и сильно схватил его, что он очутился подо мной.

— Ну что, теперьпустишь меня уйти?

— А ты выдашь меня?

— Нет.

— Поклянись.

— Клянусь, — и с этими словами я отпустил его и сам встал на ноги.

— Ты дурак и ничего больше, ты круглый дурак, — повторил он еще раз с бешенством.

Посмотрю я, как ты проживешь на свете с твоей честностью! Если бы вчера ты случайно не встретился со мной, сегодня тебя бы уже не было в живых, ты бы замерз или же издох с голоду! И если ты еще жив, то потому, что я тебя отогрел ворованным платьем, накормил ворованной ветчиной, напоил ворованным вином.

Если у тебя ноги не отморожены, — опять-таки потому, что я дал тебе теплую ворованную обувь. И если ты и теперь не замерзнешь, то потому, что я даю тебе ворованные куртку и брюки.

Да, очень хорошо и тепло было в этом платье! Я почувствовал только теперь, когда оно очутилось у меня на плечах, какая огромная разница с моими лохмотьями. Однако я собрал все свое мужество и проговорил: — Возьми все обратно и отдай мне назад мое старье!

— Послушай! Я не упрекаю тебя за него, напротив, я тебе могу подарить его.

— Спасибо, но только я не возьму!

Я молча снял с себя ворованное платье, сложил его аккуратно и отдал Бибошу, а сам оделся в свои старые и не совсем еще высохшие лохмотья. Надевать их снова показалось мне невыносимо противным. Башмаки не держались на ногах, все пальцы вылезали. Бибош молча глядел на меня, а я невольно отвернулся, стыдясь своего убожества.

— Что ты дурак, это несомненно! — начал он снова, но уже совсем другим, ласковым и тихим, голосом, — а все-таки то, что ты делаешь теперь, меня хватает за сердце, да! — и он ударил себя кулаком в грудь, — видно, все же хорошо быть честным!

— Почему ты не попробуешь? — спросил я.

— Теперь уже слишком поздно.

— А если тебя арестуют, посадят в тюрьму, что скажет на это твоя мать?

— Моя мать! Да если бы она была у меня! Не напоминай мне об этом, пожалуйста.

Я хотел прервать его.

— Я не хочу слушать твоих наставлений, еще раз оставь меня в покое, это ни к чему не приведет... Для меня нет больше возврата. Я все же хочу тебе помочь, как старому товарищу: ты не хочешь носить краденого платья, я дам тебе мое собственное, которое я носил когда-то, когда служил у Виньяли: его я заслужил честным и тяжелым трудом! Возьми его от меня на память!

Я поблагодарил от всего сердца Бибоша за это предложение и сказал, что возьму с большой радостью и благодарностью.

Мы вернулись в город. Недалеко от заставы находился меблированный дом, куда мы и вошли. Там Бибош нанимал крошечную комнату, где у него хранился разный хлам. Он вынул из шкафа суконную пару, которую я сам видел на нем в Фалезе, где мы вместе играли. К этому он прибавил еще сапоги, хотя уже не новые, но вполне крепкие и годные.

— Теперь прощай, — сказал он грустно, крепко пожимая мне руку. — Если на улице встретишься с товарищами из нашей шайки, сделай вид, что ты их не знаешь, а то это может быть небезопасно для тебя!

Мы обнялись на прощанье. День только что начинался, и у меня впереди было довольно времени, чтобы найти себе ночлег. На дворе было сухо, я был тепло одет, совершенно сыт, поэтому не отчаивался, что как-нибудь найду себе приют и работу. Идти проведать Дези было еще нельзя.

Я пошел на авось, куда глаза глядят, рассчитывая, что Бог не оставит меня в это трудное время, как еще вчера, когда мне совсем приходилось погибать. Разве это не чудо — моя неожиданная встреча с Бибошем! Так и теперь мне пришла в голову мысль пойти снова на большой рынок, к церкви св. Евстафия, может быть, та добрая женщина, что накормила нас с Дези и дала на дорогу 20 су, найдет мне какую-нибудь работу или же укажет, у кого можно ее попросить.

Сначала она меня не узнала в платье Бибоша; я имел более приличный, чем прежде вид, затем, когда я напомнил ей нашу вчерашнюю встречу, она стала расспрашивать про Дези. Я рассказал ей, какой ужасный день мы провели и как окончилось наше злополучное путешествие. Она казалась очень тронутой, что я снова пришел к ней.

— Ты подумал обратиться ко мне, к тетке Берсо, и хорошо сделал, милый мой мальчик! Мне приятно, что ты верно угадал. Правда, я человек бедный, но у меня не хватит духа оставить ребенка умирать с голоду на улице!

Она позвала двух-трех соседок и посоветовалась с ними насчет меня. Наконец после долгих переговоров она отыскала мне место у рыбного торговца. Я должен был сидеть за конторкой и писать счета. Работа была легкая. Писать я напрактиковался у дяди Симона и писал отлично, разборчиво и грамотно; когда моя добрая покровительница, мадам Берсо,

пришла узнать, каково я справляюсь с новым делом, ей меня похвалили и хозяин сказал, что будет мне платить за работу по тридцати су в день.

Это была не роскошная плата, но благодаря тому, что тетка Берсо позволила мне ночевать в своей лавке, мне вполне хватало этих денег на обед. Я даже мог немного откладывать для будущего путешествия на родину.

Дези положили в больницу в понедельник; я с нетерпением ожидал четверга, и едва окончил свою работу, как тотчас же побежал к ней.

На рынке тетка Берсо и другие женщины дали мне целый запас апельсинов. Я наполнил ими карманы. Однако на душе у меня было очень беспокойно. Что-то я узнаю? В каком положении Дези? Жива ли она или, может быть, уже умерла?

* * *

Когда мне показали палату св. Карла, в которой она лежала, я бросился бежать туда со всех ног, но сиделка меня остановила и заявила, что если я буду производить такой шум, меня немедленно выведут и больше не будут пускать. Тогда я опомнился и пошел на цыпочках.

Дези не только осталась жива, но и начала уже поправляться. Никогда я не забуду, как она обрадовалась, увидя меня.

— Я была уверена, что ты придешь ко мне, если только ты не замерз на улице в этот ужасный день! Расскажи мне, Ромен, все подробно, как ты жил эти дни?

Когда я стал рассказывать историю моего ночлега в каменоломне и ссору с Бибошем, она одобрительно кивала головой и сочувственно пожимала мне руку.

— Твоя маленькая сестричка очень довольна тобой, Ромен, — сказала она и подставила мне свою щеку для поцелуя, как бы желая выразить этим особую похвалу за то, что я удержался от искушения.

А когда я ей рассказал, как сердечно приняла меня тетка Берсо, с каким участием расспрашивала об ее болезни, Дези даже прослезилась.

— Добрая душа, — сказала она с глубоким вздохом. Затем, в свою очередь, стала рассказывать про себя.

Первое время она была без памяти, бредила и горела, но за ней был отличный уход. Сестра милосердия, добрая и ласковая, много помогла ей поправиться.

— Несмотря на то, что все здесь ко мне очень добры, я хочу, однако, уйти из больницы как можно скорее, потому что мне страшно. Прошлую ночь в нашей палате умерла маленькая девочка, рядом с моей постелью. Когда ее положили в черный гробик и понесли вон, мне сделалось дурно.

Дези ошибалась, что ей можно будет скоро уйти. Болезнь ее была настолько серьезна, что выздоровление наступало медленно, и она пролежала в больнице Иисуса около двух месяцев.

Несмотря на это, нам не худо жилось в Париже. За эти два месяца все полюбили больную, и сестры, и доктор, и даже сиделки. Она очаровала всех своим необыкновенным для ее лет умом и милым кротким характером. Все теперь знали историю наших несчастий. Интерес к судьбе больной девочки переносился и на меня. Когда я приходил в больницу, все дружески со мной здоровались.

Свет не без добрых людей, — говорит пословица, на этот раз мы вполне в этом убедились. На прощанье доктор и сестры сделали сбор в зале св. Карла и собрали 25 франков. Сумма эта избавила нас от путешествия в Пор-Дье пешком. Они разыскали агента, поставляющего кормилиц для больницы, который отправлялся в Вир.

В Вире агент обещал посадить нас в дилижанс, который ежедневно идет в Пор-Дье, и заплатит за наш проезд. Кроме того, ввиду предстоящего пути на родину я сэкономил все время, насколько мог, и откладывал по несколько су всякий день, что составило целых 22 франка!

У нас теперь был порядочный запас. Какая громадная разница между нашим приходом в Париж два месяца тому назад и нашим отъездом из него!

Добрая мадам Берсо проводила нас до повозки и надавала на дорогу всякой провизии.

Кибитка для перевозки кормилиц из Вира в Париж представляла собою не очень-то удобный экипаж: две продольных деревянных скамьи, а по середине охапка соломы, но для нас это была такая роскошь, о которой мы прежде не смели и мечтать.

Хотя уже был конец января, но погода стояла не очень холодная. Мы скоро подружились с кормилицами, которые везли детей на выкормку в деревню, они относились к нам очень хорошо, а когда армия малышей начинала неистово орать, мы вылезали из кибитки и шли пешком.

В Вире почтальон посадил нас в дилижанс на расстоянии всего одного лье от Пор-Дье.

Итак, наше путешествие приходило к концу, мы у пристани, почти у порога родительского дома. Через какой-нибудь час увижу матушку — какое счастье!

Выйдя из дилижанса, мы шли некоторое время молча. У каждого на душе были свои заботы и сомнения. Дези первая прервала молчание.

— Пойдем потише, Ромен, мне надо с тобой серьезно поговорить.

— Мне также надо кое-что сказать тебе, — ответил я, — во-первых, вот письмо, передай его от меня маме.

— Зачем письмо, — кротко перебила она, — разве ты не вернешься домой со мной вместе? Почему ты не хочешь сам отвести меня к твоей маме? А если она и знать меня не захочет, а если она не согласится жить со мной, куда же я тогда пойду?

— Не говори так, ты не знаешь, как добра моя мать, она не способна так поступить.

— О! Я не сомневаюсь, что она добрая, очень добрая, но вопрос в том, простит ли она мне, что я тебя не удержала? Она, может быть, не поверит, что я всячески просила и убеждала тебя вернуться к ней, а ты все-таки поставил на своем.

Разве это правдоподобно, чтобы ты довел меня до порога своего дома, а сам не вошел даже, чтобы поздороваться с мамой, с которой ты так давно не видался! Разве это возможно? Неужели ты способен так поступить, Ромен?

— Об этом-то именно я и говорю ей в письме, которое прошу тебя передать. Я пишу, до чего мне трудно уходить, не повидавшись с нею! Но пойми же, Дези, если я увижу ее, я не в силах буду уйти, и тогда придется вернуться в Доль к дяде. А для меня это хуже смерти. Другого выхода нет. Мама заключила с ним письменное условие, а он не такой человек, чтобы поступиться хоть на маковую росинку своими правами на меня, особенно теперь, когда он в злобе за мой побег, он никогда нам этого не простит, ты не знаешь, какой это ужасный человек.

— А может быть мама найдет какое-нибудь средство избавить тебя от него.

— Если мама нарушит условие, ей придется за меня платить неустойку, тогда как если я попаду на корабль, он не будет в состоянии ничего поделывать со мной по моем возвращении, потому что раз я попаду в моряки, я больше ему не принадлежу. Я уже все это обдумал.

— Конечно, может быть, в этом ты и прав, Ромен, а все-таки мне кажется, что ты поступаешь дурно и бессердечно относительно своей мамы...

Я был сам недостаточно уверен в своей правоте, поэтому замечание Дези задело меня за живое.

— Ты думаешь, что я делаю дурно? — переспросил я с досадой.

— Да, по-моему нехорошо, и если твоя мама начнет тебя обвинять в том, что ты не доволен ее любишь, я не в силах буду тебя защищать, потому что в душе буду с ней согласна.

Минуту мы шли молча, каждый погруженный в свои думы. Я был подавлен, растроган, мое упорное решение стать моряком во что бы то ни стало, как покойный отец, как дядя Флоги, поколебалось, я уже готов был уступить, но я слишком много перестрадал от своего упорства и назад идти казалось невозможной слабостью, ко всему этому страх возврата в Доль! Поэтому я старался бороться, как мог, с охватившим меня волнением.

— Разве я когда-нибудь дурно поступал с тобой? — спросил я Дези.

— Нет, никогда.

— Почему же ты думаешь, что я способен относиться дурно к другим, особенно к маме, которую я люблю больше всех на свете?

Она посмотрела на меня грустным взглядом.

— Ну, отвечай же.

— Нет, я этого не думаю.

— Может быть, ты сомневаешься, что я люблю маму и что я нарочно хочу заставить ее страдать? Ну так, если ты меня хоть чуточку любишь за прошлое и уверена, что я не злой мальчик и ничего не делаю нарочно, чтобы причинить маме горе, не говори мне больше таких вещей. Ты, может быть, способна будешь убедить меня остаться, но я знаю наверное, что из этого выйдет одно несчастье для всех нас.

Она ничего на это не сказала, и мы шли молча, оба расстроенные и несчастные.

Я нарочно повел Дези через поле, всегда пустынное, чтобы не встретить случайно кого-нибудь из жителей Пор-Дье. Мы благополучно дошли до небольшого оврага, от которого начинался наш двор. В церкви звонили от обедни, матушка, наверно, уже вернулась домой.

— Вот, — сказал я Дези, показывая рукой на кровлю, — вот наш домик, где я всегда был так счастлив, где меня всегда любили. С этого дня он и для тебя станет родным домом!

Голос у меня задрожал от волнения, я с трудом удерживал рыдания.

— Ромен, — произнесла Дези умоляющим голосом. Но я крепился.

— Ты сейчас войдешь одна, — заторопился я, — и отдашь маме мое письмо; ты скажешь ей: «Вот письмо от вашего сына». Когда она прочтет его, то, я знаю, примет тебя, как родную дочь. А через шесть месяцев я к вам вернусь. Я напишу вам из Гавра, а теперь прощай!

Я хотел бежать, но она схватила меня за рукав.

— Не удерживай же меня, Дези, милая, ради Бога, ты видишь, что я сейчас расплачусь и не в силах буду уйти.

Она разжала руки.

— Поцеловать ее за тебя, Ромен, да?

Я уже отбежал на несколько шагов, но при этих словах вернулся, крепко обнял Дези, причем ее слезы смочили мне все лицо.

Затем я бросился бежать без оглядки, ибо понимал, что еще одна такая минута, и вся моя напускная твердость растает, как воск, но, опомнившись, вернулся потихоньку назад и спрятался в кустах. Дези, постояв немного во дворе, наконец вошла в дом. Долго она там оставалась, а я был вне себя от беспокойства, что же будет дальше? Что если мамы нет дома, или же она вдруг, как и мать бедной Дези!..

Но в момент, когда эта страшная мысль промелькнула у меня в голове, Дези показалась на пороге, а вслед за ней вышла мама; обе они плакали, значит дома все благополучно. Я поблагодарил Бога от всего сердца, и сразу страшная тяжесть свалилась с души, хотя я тоже наплакался вволю, стоя за плетнем.

Через три часа я уже взбирался на крышу дилижанса, который ехал в Гавр через Гонфлер. В моем кошельке еще оставалось от нашего богатства целых семь франков.

Мне всегда казалось, что как только я явлюсь на борт какого-нибудь корабля, меня сейчас же и примут на службу. Поэтому по приезде в Гавр я отправился тотчас на корабельную пристань, мне хотелось выбрать себе корабль по душе. В королевской бухте стояло два-три парохода, но они меня мало интересовали. В бухте Барра вижу стоит несколько огромных американских кораблей, с них разгружают хлопок и складывают целые горы тюков на берег, но это тоже все не то, потому что мне нужен был французский корабль.

Глава XIII

В бухте, где стояли торговые суда, я увидел корабли всех стран света, и большие и малые, целый лес мачт, украшенных брейд-вымпелами, парусами и флагами. Я пришел в полный восторг. Это показалось мне много прекраснее Парижа! От некоторых кораблей так сильно пахло жженым сахаром, что у меня слюнки потекли. От других пахло перцем, ванилью и другими пряностями. Всюду занимались или нагрузкой, или разгрузкой товаров. Таможенные чиновники наблюдали, как носят тюки со всякой всячиной, причем матросы за работой тянули какую-то свою заунывную песню.

Между всеми этими судами одно особенно пленило меня. Оно было выкрашено белой масляной краской с синими бортами. Это был небольшой трехмачтовый корабль. На дощечке, прибитой на ванте, я прочитал название: «Утренняя звезда». Направляется она в Пернамбуко и Гагию. Капитан Фригор отъезжает немедленно. Как было бы чудесно отправиться в первый раз в плаванье на таком чудесно выкрашенном, в белое с синим, корабле! А Пернамбуко и Гагия (Сан-Сальвадор — Бразилия) казались мне самыми очаровательными городами в мире.

Я взобрался на палубу. Матросы были заняты нагрузкой корабля; в широко открытый трюм спускали огромные деревянные ящики и здоровенные, обитые железом, сундуки. На меня сначала никто не обратил внимания, но так как я продолжал стоять, не трогаясь с места и не смея подойти к господину, который записывал номера и число ящиков (это верно и есть капитан, — подумал я), то он сам меня заметил.

— Мальчуган, ступай прочь, — бесцеремонно закричал он, — что ты тут вертишься?

— Извините, сударь, мне бы надо было с вами поговорить.

Я подошел, поклонился и выразил ему свое страстное желание поступить юнгой на «Утреннюю звезду».

Он даже не удостоил меня ответом, а жестом показал мне, что я могу идти туда, откуда пришел.

— Но, сударь...

Он с угрозой поднял кулак; я больше не смел настаивать и вышел, чувствуя себя полным ничтожеством перед этой неумолимой силой. По правде сказать, это фиаско меня очень встревожило.

Неужели меня также не захотят взять и на другое судно?

Но я был не в таком положении, чтобы мог легко отказаться от своих заветных планов. Очевидно «Утренняя звезда» — это было слишком для меня роскошно! Поэтому на сей раз я был скромнее в своих требованиях и выбрал «Конгр», небольшой и довольно грязного вида бриг, который отправлялся в Тампик.

На нем мне просто ответили, что не имеют нужды увеличивать экипаж. На третьем корабле я уже не рискнул больше обращаться к капитану; совершенно выбитый из колеи двумя прежними неудачами, я попросил простого матроса помочь мне, изложив ему, как умел красноречивее, свою просьбу.

Этот последний с недоумением пожал плечами и заявил, что я «пресмешной карапузик», а затем отошел от меня прочь.

На одном частном корвете, отплывающем к берегам Африки, капитан, очень несимпатичный и не добрый по виду человек, довольно охотно согласился взять меня с собой; но когда узнал, что у меня нет отца, чтобы подписать условие, что я не записан в кадр моряков, что у меня нет чемодана для вещей и даже совсем нет никакого багажа, особенно это последнее обстоятельство почему-то ему не понравилось, так что он сразу обозлился, рассвирипел и велел мне моментально убираться вон, если я не хочу познакомиться с каблуками его сапог.

Дела мои принимали неважный оборот, и я стал приходить в отчаяние.

Неужели придется ни с чем вернуться в Пор-Дье? Если бы я думал только о матушке и о Дези, то кроме радости ничего бы не испытывал при этой мысли; но предстоящие пять лет службы у дяди Симона представлялись мне столь ужасной будущностью, что я решил

продолжать свои поиски до последней крайности и попытать все средства.

Обходя гавань со всех сторон, я вернулся на набережную. Начался прилив и уже несколько рыбацких лодок уплыло в открытое море. Я пошел на дамбу полюбоваться отправкой кораблей. Давно я не видал этой, с детства милой, родной мне, картины.

Прибой волн, необъятное море воды, приход и уход лодок из Кана, Руана, Гонфлера, отправка больших судов в дальнее плавание, прощанье, маханье платками с берега и с палубы, крики матросов, лязг цепей и якорей, смесь всех этих белых парусов на рейде от берега и до самой последней точки, видимой глазом, до того меня очаровали, что я забыл свои собственные заботы и поиски.

Уже более двух часов я сидел, как окаменелый, не сводя глаз с этого зрелища, забыв все на свете... Вдруг меня кто-то дернул за вихор и привел в чувство. Я обернулся и с изумлением увидел одного из музыкантов труппы Лаполада, немца Германа.

— Разве Лаполад в Гавре? — спросил я с таким ужасом, что Герман с минуту не мог мне ответить от душившего его хохота. Нахохотавшись вдоволь, он успокоился немного и отвечал, что он вслед за мной тоже сбежал из цирка, а теперь собирается ехать к брату, который живет в республике Эквадор.

— Брат за проезд мой заплатил; а насчет Лаполада ты теперь не бойся. Он получил довольно большое наследство, продал свой зверинец, или, вернее, жалкие его остатки, потому что через две недели после вашего побега бедный Мутон умер с горя и с голоду.

Без Дези с ним никто не мог справиться; он страшно скучал, отказывался от всякой пищи. Кажется, он готов был съесть одного только Лаполада и набрасывался на него при всяком удобном случае. Но так как Лаполад не имел намерения продлить жизнь льва на счет своей собственной, то несчастный Мутон и погиб.

Я рассказал Герману про все свои неудачные попытки поступить юнгой на корабль и попросил его помочь мне в этом деле; Герман был ловкий и сметливый мальчик, недаром он так долго служил в балагане у чужих людей, вдали от родины.

— Хочешь я выдам тебя за своего брата? — отвечал он на мою просьбу.

— А где же я возьму денег на экипировку, ведь у меня ничего нет, ни гроша.

Отсутствие экипировки составляло главное затруднение. У Германа тоже не было денег. Надо было отказаться от этого проекта.

— Ты не горюй, что-нибудь еще придумаем, — утешал меня Герман, — пойдём-ка лучше обедать, а после обеда отправимся в театр, мне дал туда два места один музыкант, мой земляк.

В театре играли комедию «Открытая Война». В этой пьесе одного из действующих лиц принесли на сцену спрятанным в огромный сундук.

— Вот так богатая мысль, — шепнул мне на ухо Герман, — это прямо для нас с тобой!.. В антракте я тебе все объясню подробно.

Вот что он надумал: надо купить большой деревянный сундук и запрятать меня туда. За час до отхода парохода отнести этот сундук под видом багажа, хорошо запертый и обвязанный веревками, на палубу парохода.

— Я скажу, что в сундуке спрятаны разные вещи, которые брат поручил мне привезти с собою. Когда же мы выплывем в открытое море, я тебя выпущу, и капитан, волей-неволей, оставит тебя на корабле, не бросать же ему тебя в воду. Раз ты попадешь в число экипажа, он даст тебе какую-нибудь работу, а ты старайся хорошенько, вот все и обойдется ладно.

Конечно, это был смелый до дерзости, почти безумный, план, но в нем было то необычайное, «с приключениями», что всегда казалось мне соблазнительным.

На другой день мы с Германом обошли все лавки подержанных вещей и нашли наконец огромный сундук, как раз подходящий для наших целей. Когда мы принесли его домой, я влез в него, он оказался как раз впору.

Мы просверлили в стенках сундука несколько дырок, через которые я мог бы свободно дышать. Он запер меня, и я высидел там два часа, для опыта, совершенно благополучно, потому что мог двигать руками и ногами, ложиться на бок и на спину, вообще менять

положение.

Судно, на котором ехал Герман, отправлялось завтра вечером в открытое море., Я пошел предварительно хорошенько с ним познакомиться и осмотреть его во всех подробностях. Оно называлось «Ориноко».

По возвращении на квартиру Германа я окончательно решил ехать и сел писать матушке длинное письмо, в котором извещал ее, что я уезжаю в море, прошу простить меня, но что я не в состоянии вернуться к дяде Симону, а потому это единственный для меня выход.

К этому письму я приложил другое — для Дези. Я описал ей мою встречу с Германом, а также известил о судьбе Лаполада и его зверинца, о смерти Мутона и в конце просил ее быть доброй к матушке и заступиться перед нею за меня.

За два часа до полного отлива, т. е. до отхода корабля, Герман запер меня в сундук и дал мне на дорогу кусок хлеба.

— До завтра еще долго, — сказал он мне смеясь, — если ты проголодаешься, то можешь и поесть. А пока до свиданья!!!

Мне предстояло высидеть 20 часов взаперти, потому что если бы я открыл свое пребывание близ берегов, капитан мог отправить меня на шлюпке обратно, тогда как в открытом море сделать это было много труднее. В течение нескольких дней дул сильный южный ветер, а потому через 20 часов мы будем далеко за Шербуром.

Мы привинтили две кожаные петли внутрь сундука, я должен был держаться за них, чтобы меня не очень подбрасывало при нагрузке. Герман два раза повернул ключ в замке, обвязал сундук крест-накрест веревкой и взвалил его себе на спину. При этом начал хохотать так, что я подпрыгивал в ящике, точно ехал рысью верхом на лошади. Но когда он вступил на борт «Ориноко», вся его веселость мигом исчезла.

Капитан сурово и подозрительно посмотрел на него.

— Ты это что тащишь? — закричал он.

— Свой сундук с вещами для брата.

— Теперь слишком поздно, трюм закрыт. Неси назад!

Вот тебе раз, а мы именно хотели, чтобы трюм был закрыт и сундук нельзя было бы спустить на дно и завалить другими вещами, потому что тогда Герману добраться до меня было бы нелегко; а теперь сундук можно было поставить на палубе, или еще лучше, в каюте Германа.

Капитан долго не соглашался принять этот запоздалый багаж на борт, я уже думал, что мне придется остаться и на этот раз на берегу. Однако Герман стал всячески упрашивать принять сундук и, чтобы отвязаться от его приставаний и просьб, капитан велел поставить сундук между деками, посреди других, запоздавших до последней минуты, вещей, а потом снести его в трюм. Эта перспектива меня не очень-то пугала, потому что я надеялся раньше, чем это случится, очутиться уже на свободе.

Вскоре раздался плеск падающих в воду канатов, и я почувствовал, что корабль движется, а над моей головой раздавались торопливые шаги матросов. Судно выходило из гавани. По звукам, доносившимся до меня так ясно, что я мог следить за всем, что происходило на палубе, по смешанному шуму голосов и оборотам колес я понял, что мы проходили через шлюзы.

Несколько минут еще судно оставалось неподвижным, потом оно постепенно и ровно начало двигаться вперед. Его выводил в открытое море буксирный пароход. По легкому покачиванию я понял, что мы вышли из гавани и очутились между дамб; заскрипели блоки, это поднимали паруса, корабль накренился, буксирный пароход отъехал, якоря затрещали и вот, наконец, я достиг своей цели. Я на корабле, начинается жизнь, полная приключений!

Этот, столь желанный, миг настал, я думал, что буду испытывать при этом безумную радость, а на самом деле мне стало жутко, сердце щемило от беспричинной грусти и от страха за будущее.

Правда, что положение мое было пока далеко не веселое. Может быть, если бы я

очутился на палубе, среди матросов, занятых своим делом, видел перед глазами открытое море, вдыхал его соленый, знакомый вкус, я бы чувствовал себя совсем иначе и радостно встретил бы неизведанное будущее.

Но теперь, лежа, как в гробу, между четырьмя досками, запертый на ключ, я не мог отделаться от невольного чувства ужаса перед вопросом, что со мной будет дальше?

Меня вывели из тяжелого, как кошмар, раздумья, три-четыре коротких удара по крышке моей тюрьмы. Я не слышал голоса, а потому не рискнул отозваться, может быть, это ударил по сундуку случайно какой-нибудь матрос; но повторилась мелкая дробь, значит это Герман. Тогда я постучал в ответ черенком ножа в крышку. Это немного меня успокоило и на душе повеселело. Что за беда посидеть еще несколько часов в сундуке, зато потом как будет хорошо! Среди океана весь мир Божий был открыт передо мною.

Ветер посвежел; корабль шел наперерез волнам и начиналась качка, я с детства привык к качке, когда, бывало, с отцом мы отправлялись в рыбачьей лодке в море на всю ночь, прежде у меня никогда не бывало морской болезни, потому что я «моряк».

Каково же было мое разочарование, когда меня стало тошнить.

Сначала я приписал это нездоровье недостатку воздуха, он все же плохо проходил в сундук через маленькие дырочки, и еще с большим трудом выходил обратно, а также и невыносимой жаре и духоте; но тошнота все усиливалась и начались приступы настоящей морской болезни. У меня звенело в ушах, голова кружилась, а перед глазами пошли зеленые круги. Это новое горе встревожило меня. Кроме того, я мог не сдержаться, громко зареветь — меня могли услышать проходящие матросы.

Я часто слышал, что лучшее средство против этой болезни — сон. Так как это единственное средство, которое было в моем распоряжении, то я положил голову на ладони и старался изо всех сил заснуть. Старания мои были напрасны. Постель была не очень-то удобна. Если бы еще я догадался постлать на дно ящика хоть охапку соломы. Когда судно начинало сильно раскачиваться, у меня сердце замирало и мне казалось, что я сейчас умру, до того трудно было дышать, наконец усталость превозмогла все и я забылся тяжелым сном.

Сколько времени я спал — не знаю, потому что в сундуке была непросветная тьма: я не мог даже определить, была ли это ночь или день. Только по тишине, которая царила на корабле, можно было думать, что это ночь; все улеглись спать. Надо мной раздавались одни мерные шаги вахтенного, и время от времени скрип руля.

Боковая качка усилилась; по временам мачты трещали от напора ветра. Удары волн о борт показывали, что ветер все крепчал. От того ли, что ночная свежесть облегчила меня, и мне стало легче дышать, или я стал привыкать к качке, но морская болезнь больше не повторялась, а потому я мог снова заснуть. Под знакомый шум волн мысли перенесли меня в маленькую комнатку в Пор-Дье, где мы мучились с матушкой в страхе за отца, сначала молились, а потом тоже засыпали под рев бури.

Во второй раз я проснулся от страшного грохота, раздавшегося над самой моей головой. Все судно затрещало с такой страшной силой, что мне показалось — все на корабле разлетелось в щепки, мачта, палуба и мы все сейчас должны провалиться. Снасти скрипели, все трещало.

— Стой! — закричал кто-то по-английски.

— Все на палубу! — кричал чей-то голос по-французски.

Среди криков и шума многих голосов я различил глухой свист — я узнал его тотчас же. Это вырывался пар. Верно, в наше судно врзался английский пароход, и оно накренилось на бок, меня перевернуло на противоположную сторону сундука.

Раньше чем я опомнился от этого свиста, выпуск пара прекратился, послышался новый треск и неистовый крик и шум на нашей палубе. Почти в то же время «Ориноко» снова приподнялся кверху; я старался сообразить: пошел ли английский пароход ко дну или же, наоборот, отошел от нас, и мы тонем.

Тогда, понимая весь ужас своего положения, я стал кричать изо всех сил, умоляя кого-нибудь открыть двери моей тюрьмы и выпустить меня на волю, но никто не слышал меня. Я

слышал над собой смешанный говор голосов, быстрые шаги во всех направлениях, а волны хлестали со страшной силой о борт «Ориноко», ветер так и выл, так и рвал. Потонем мы или нет? Вспомнит ли Герман в эту страшную минуту обо мне?

Предчувствие близкой смерти сжало мне сердце так, что оно, кажется, совсем перестало биться. Холодный пот выступил на всем теле, точно я окунулся в воду. Инстинктивно хотел я подняться на ноги и больно ударился головой об крышку сундука. Я стал на колени и делал отчаянные усилия, чтобы выломать ее, но замок был сделан прочно; мои усилия не повели ни к чему, сундук не поддавался. Я повалился на дно, полумертвый от страха и ужаса. Неужели же придется умирать в этом проклятом сундуке?

Затем, отдохнув немного, я снова стал звать Германа и кричал изо всей мочи. Но оглушительный шум на палубе заглушал мои крики, я сам не слышал своего голоса, а слышал только как топорами рубили мачты: Германа все нет как нет! Что он делает, или, вернее, что с ним самим случилось?

Я слышал, что одни матросы рубили мачты, другие выкачивали насосами воду, мы тонули, теперь это было для меня ясно. Я снова отчаянно стал ударять об крышку, делал нечеловеческие усилия, чтобы сломать ее, но она не поддавалась, и я падал на дно сундука, обезумев от отчаяния и бешенства.

— Герман, Герман, — вопил я не своим голосом. Ничего и никого в ответ. Все те же звуки над моей головой, т. е. на палубе, но с той стороны, где я был заперт, все стихло, моего голоса никому не слышно. А если отчаянные крики мои глухо и долетали на поверхность корабля, то они были заглушаемы ревом бури.

Неужели Герман уже утонул, думал я, или же снесен волнами, или, может быть, его убило обломками мачты, а может быть от страха он позабыл обо мне и мне суждено умереть заживо погребенным. Я не предвидел ниоткуда никакой помощи, никакого спасения. Какой ужас! Господи, помоги мне! — начинал я молиться, обливаясь холодным потом.

Ждать мужественно смерти, встретиться с ней лицом к лицу, как с неизбежным концом всех людей, может даже ребенок. Но это тогда, когда человек на свободе, когда он может защищаться, отстаивать свою жизнь, когда борьба удваивает его силы, а умирать запертому между четырех досок, где едва можно дышать и с трудом двигаться, — это чудовищно и жестоко!

Я продолжал с бешенством колотиться о стены моей тюрьмы, но все также безуспешно. Хотел еще кричать, но горло у меня пересохло, звука не было, а слышался только один хриплый стон. Не знаю, как может человек вообще переносить такие положения, а тем более мальчик. Я потерял сознание.

Когда я пришел в себя, через сколько времени, — неизвестно, я испытывал странное ощущение. Мне казалось, что я уже умер и лежу на дне моря, и меня покачивают волны. Но шум на палубе напомнил мне ужасную действительность.

Воду все еще выкачивали насосами, но она просачивалась, потому что я повсюду слышал ее плеск. Ветер завывал по-прежнему, а волны так продолжали хлестать о бока «Ориноко», что потрясали корабль до самого основания, причем была страшная качка, меня бросало в моем ящике из стороны в сторону, как щепку. Я снова стал кричать о помощи, но ничего в ответ, кроме глухого воя бури.

Я задышался и расстегнул на себе платье. Когда я снимал жилет, мне попался под руку ножик, о котором от страшного волнения я совершенно позабыл. Это был простой мужицкий ножик, очень прочный, хорошей стали, острый и с крепкой ручкой.

Так как никто, очевидно, не мог мне помочь, то я должен был попытаться сам себя выволить. Я открыл нож и стал сверлить замок. Лес, из которого был сделан сундук, был старый, хорошо выдержанный, а потому дерево было страшно твердое.

Я с таким страстным рвением принялся за свою попытку к освобождению, что вскоре был без сил, весь в поту, ножик скользил между пальцами, и каждую минуту я принужден был вытирать руки, а потом снова начинал долбить. Работа моя мало подвигалась вперед, качка сильно мешала, меня ежеминутно перебрасывало из стороны в сторону.

Наконец замок понемногу подался. Я надеялся на сильный толчок, который поможет мне его оторвать совсем. Нож до того разогрелся, что кончиком его я обжег себе язык, когда хотел его послонить.

На палубе перестали выкачивать воду, но движение и шум продолжались. Шаги матросов становились все быстрее, очевидно, над чем-то работали с усердием. Что там происходило? Что делали? До меня долетали такие звуки, точно что-то очень тяжелое катили по палубе. Но что это должно было обозначать, я никак не мог догадаться; у меня теперь не было времени задумываться над этими вопросами. Я снова принялся за работу. Ножик зазубрился и работать становилось труднее, хотя я затрачивал на свою работу всю энергию и весь запас оставшихся сил. По временам у меня немели руки, поясница ныла от неловкого положения, и как я ни спешил освободиться, все же должен был останавливаться для передышки. По-прежнему до меня доносился вой бушующего ветра, рев волн и треск ломающихся снастей.

Наверное, я проработал более получаса. Вы не можете себе представить, до чего время показалось мне бесконечно долгим. Наконец замок и с другой стороны пошатнулся. Я стал на колени, и, согнув спину колесом, изо всей силы напирал на крышку, чтобы она приподнялась. Замок отскочил, но крышка не поднималась.

Я забыл, что сундук был завязан веревкой. Предстояла новая задача — перерезать ее. Сначала я думал, что это пустяки, но я ошибся; хотя крышка и стала немного подниматься, но веревки западали за края.

К счастью, я попал сразу рукой удачно, добрался до веревок и перерезал их. Какое счастье, вот и свобода. Я двинул крышку, но она, приподнявшись немного, снова захлопнулась. Я толкнул ее посильнее, то же самое, она не приподнималась выше; очевидно, ее что-то удерживало сверху.

На этот раз отчаяние мое было так велико, что я снова упал в изнеможении на дно сундука. Но я слишком много сделал, чтобы теперь отступать, не доведя до конца своей работы, не попытаться еще. Вопрос шел о жизни и смерти.

Крышка поднималась настолько, что я мог просунуть руку, но дальше никакими усилиями мне не удавалось ее приподнять. Я просунул руку так далеко, как только можно было, и стал шарить вокруг; темнота прерывалась едва заметной полоской света, падающего откуда-то. Наконец я узнал, откуда грозила мне новая страшная опасность. Это был больших размеров сундук, поставленный на соседний с моим, он покрывал собой, хотя не плотно, половину моего, а потому и не давал возможности открыть крышку.

Я сделал усилие его оттолкнуть, но он был непомерной тяжести и не двинулся с места. Кроме того, мое неловкое положение мешало мне действовать с достаточной ловкостью. Думать, что я мог бы одними своими силами приподнять эту тяжесть или даже столкнуть ее — было безумием. Итак, все мои усилия не привели ни к чему, мне не удалось освободиться из моей ужасной тюрьмы. Я весь дрожал от горя, нетерпения и страха перед безвыходностью своего положения. Голова моя горела, как в огне.

Быть может, мои крики заглушались присутствием этого ужасного сундука. Теперь же, когда крышка хоть немного поднимается, меня могут услышать. Я начал снова кричать отчаянно, неистово. Потом прислушался. Шум на палубе продолжался, затем что-то тяжелое упало в воду. Если я слышал крики сверху, то отчего же они не слышат моих? Я еще покричал и снова прислушался.

На этот раз я был поражен наступившей вдруг тишиной. Не было слышно ни шагов, ни голосов, слышался один вой ветра, хотя время от времени доносились какие-то крики, но они слышны были уже со стороны моря.

Ясно, что меня никто не услышит. Я решил прибегнуть к последнему средству, попробовать сбить крышку с петель, тогда ее можно будет сдвинуть и я освобожусь.

Я снова поспешно принялся за работу, потому что наступившая на корабле тишина испугала меня невыразимо. Неужели же весь экипаж: капитан, матросы, пассажиры, а с ними и мой Герман, потонули в море? Все было возможно, потому что страшная килевая качка

продолжалась, и буря была в самом разгаре.

Петли не были так прочны, как замок, и поддались быстро, я бы должен был начать с них, а не с замка; с помощью ножа мне удалось разнять одну половинку, а раскачивая крышку, я подвинул дело вперед.

Наконец они соскочили, и я выполз из сундука на свет Божий. Какое это было счастье, вы не можете себе представить. Я мог двигать свободно почти онемевшими членами, я мог свободно дышать.

В первую минуту освобождения я зарыдал от радости. Потом нашел лестницу на палубу и стал по ней взбираться ощупью. К счастью, выходная дверь не была заперта на замок.

Было раннее утро, едва начинало светать, но мои глаза так привыкли к темноте, что я живо окинул взглядом все пространство и, о ужас, не увидел нигде ни одной живой души. Везде пусто. Было ясно, что корабль был оставлен на произвол судьбы, а экипаж и все люди уехали на шлюпке.

Я побежал на ют и, смотря вдаль, увидел при бледных лучах утренней зари вдали на горизонте черную движущуюся точку, это была шлюпка. Я кричал, сколько хватало голоса, но ветер заглушал мой слабый детский отчаянный крик, и люди, конечно, не могли его услышать на воде. Оставаясь одна надежда на Бога.

Я очутился один среди бушующего моря на сломанном, покинутом людьми корабле, они предоставили ему затонуть или разбиться, и несмотря на это, я все же чувствовал себя в этих ужасных условиях легче, чем запертый в проклятом сундуке.

Осмотрел я первым делом корабль, чтобы видеть, в чем была главная поломка. Английский пароход врезался как раз в середину его и чуть не расщепил его пополам. При столкновении все было разбито и поломано.

Всюду вокруг меня обломки мачт, обрывки парусов и веревок. Из снастей оставалась только половина фок-мачты и бугшприт нетронутыми, из парусов остался фок-стаксель, а стеньга оказалась разорванной в клочья.

Начинался день: с востока облака были густого огненного цвета, они быстро бежали по небу и постоянно изменяли свое очертание. Море кругом, сколько было видно, сплошь покрылось белой пеной, оно имело грозный мрачный вид, освещаемый тусклыми бликами утренней зари.

Ветер не унимался и буря так качала «Ориноко», что оно могло перевернуться с минуты на минуту. Уж если экипаж во главе с капитаном решил бросить судно, то, следовательно, опасность пойти ко дну была неминуема. Чтобы удержаться на ногах, я должен был привязать себя веревкой к снасти, а то и меня и палубу волна заливала, и я был весь мокрый.

При поверхностном осмотре нельзя было решить, много ли было воды в трюме. Насосы были слишком тяжелы, и я не мог выкачивать ими воду, чтобы убедиться в ее количестве. Весь бок корабля был сильно поврежден. Сколько времени «Ориноко» мог еще продержаться на поверхности воды и противостоять силе напора ветра? — Это было трудно решить. То, что корабль пойдет ко дну, в этом я был совершенно уверен, но может ли он продержаться до прихода какого-нибудь мимо проходящего судна, которое бы могло меня взять?

Я не терял на это надежды и думал, что если путем упорной борьбы я помог себе выбраться из страшного сундука, то, быть может, я мог еще бороться и теперь за свою жизнь до последней возможности. Морское дело мне было достаточно знакомо, чтобы знать, что если судном перестают управлять, то оно разобьется, а затем пойдет ко дну. Поэтому я кинулся к рулю, не заботясь уже о том, какого направления держаться, но для того только, чтобы с помощью фок-мачты направить судно против волн.

До этой минуты я умел хорошо управлять только рыбацкими лодками, а это совсем не то. Едва я взялся за руль, как колесо завертелось с такой силой, что меня отбросило на несколько шагов в сторону. К счастью, на румпеле тали были очень хорошие, и я кое-как мог

справиться с рулем, приспособившись им управлять после нескольких неудачных попыток.

Так как я не знал, где мы остановились, близко или далеко от земли, то при таких условиях для меня было безразлично, куда держать путь, и я направил «Ориноко» по ветру.

Единственная моя надежда на спасение заключалась в том, чтобы встретить какое-нибудь судно. Для этой цели я уселся на юте, чтобы иметь перед собой открытый горизонт и не пропустить корабля, если бы он где-нибудь показался.

Ветер к утру начал стихать. Небо поочистилось; тучи лилового цвета стали переходить в светло-серый и рассеиваться. Кое-где между ними появились голубые просветы. И, хотя море продолжало бушевать, все же у меня на душе становилось легче. Мы не могли очень далеко уплыть от берегов, значит нельзя допустить, чтобы не прошел мимо ни один корабль. Почти три часа кряду я сидел на одном месте, не спуская глаз с моря и боясь отвернуться хоть на минуту. Вместе с ветром успокаивалось и море, то есть волны вместо клокочущей бездны, где все смешивалось в беспорядке, принимали известное направление, а это было все же менее опасно.

Вдруг я заметил белую точку на темном фоне лиловой тучи. Точка увеличивалась еще и еще и явно шла за ветром, т. е. в том же направлении, как и «Ориноко». Я бросился к румпелю, чтобы направить свое судно наперерез ему, но это оказалось напрасной надеждой. У корабля были распущены все паруса, а у меня были одни жалкие остатки снастей, которые не могли почти действовать в помощь ветру. Еще с полчаса я напряженно следил, даже мог сосчитать все его снасти, но вот оно начало уменьшаться и удаляться.

Я побежал к колоколу и начал неистово звонить, потом опять взобрался на рубку и смотрел, но, увы, оно все уменьшалось и продолжало свой путь, не обращая внимания на «Ориноко». Ясно, что меня не слышали и не видели.

Это было страшное разочарование, крушение всех моих надежд. Еще с час я следил за ним глазами. Оно все уменьшалось, и, наконец, превратилось в одну черную, едва заметную точку. Снова я остался один в необъятном водяном пространстве.

Значит мало, если суда будут проходить мимо, надо еще, чтобы они заметили «Ориноко». Тогда я поискал в складе, где прячут сигналы, самый большой флаг, какой мог только найти и поднять, и прицепил его на верх стены. Трудно было мне подняться, чтобы укрепить его, но я не даром лазил по шесту в цирке Лаполада. Теперь мне оченьгодились уроки акробатических упражнений. Я спустился вниз и глядел с надеждой на широкое развевающееся знамя, которое должно было обозначать для тех, кто его увидит, что судно в опасности и погибает. Самое страшное для меня было теперь, когда море значительно успокоилось, это прибыль воды в трюме, но пока что судно еще не погружалось в воду, на всякий случай, если бы оно вдруг пошло ко дну, я собрал несколько досок, связал их, сколотил гвоздями и сделал себе нечто вроде плота, на нем я все же мог бы еще продержаться хоть немного на поверхности моря.

Уже наступал полдень, а я со вчерашнего дня ничего не ел, и потому я решил поискать на корабле чего-нибудь поесть, хотя не без долгих колебаний остановился на этом: меня пугала возможность сразу затонуть, пока я спущусь вниз в каюты. Однако голод превозмог все мои опасения.

Я спустился вниз и на лестнице вдруг услышал собачий лай и рычанье. Я сначала онемел от испуга и отступил в ужасе, но сильным прыжком собака выскочила из капитанской каюты и понеслась в открытую мной дверь по лестнице вверх. Я вспомнил, что видел ее накануне, когда осматривал «Ориноко» до отъезда из Гавра, что это собака капитана, и зовут ее Турок.

Бедное животное, подобно мне, было заперто и забыто. В одну минуту она очутилась на палубе, потом повернулась и посмотрела на меня подозрительно. Но, очевидно, осмотр был в мою пользу, потому что Турок дружелюбно подошел ко мне, завилял хвостом и стал тереться об мои ноги, почувствовав инстинктивно, что нашел во мне друга и товарища по несчастью. Это меня растрогало.

В каюте капитана я нашел еды больше, чем было нужно. Сколько угодно хлеба,

холодной говядины и вина. Турок также был страшно голоден и очень обрадовался, когда я щедро поделился с ним. Мы поели на скорую руку, часть я захватил с собой и побежал поскорее наверх.

Хотя я был на волосок от смерти, а все же ел с наслаждением, с таким же аппетитом и Турка хватал налету говядину и хлеб. Теперь я почувствовал себя не таким одиноким; возле меня очутилось живое существо, дружески ко мне расположенное. Утолив голод, Турка улегся у моих ног и не покидал меня ни на минуту.

Он следил своими добрыми глазами за всеми моими движениями, я обнял его и расцеловал; с этих пор мы стали друзьями.

В каюте я увидел пару пистолетов, забытых на столе, и захватил их с собой. В случае появления на горизонте нового судна я буду стрелять; быть может, меня услышат. День склонялся уже к вечеру, а я не видал более ни одного паруса. Море совсем успокоилось.

«Ориноко» покачивало, но едва заметно, оно еще довольно устойчиво держалось на воде, и я не замечал в нем течи. Ночь меня не пугала, собака была со мной, и берег не должен был быть далеко. Может быть, в ночной темноте зажгут маяк, и я увижу его и узнаю, где берег, тогда я направлю к нему судно, и мы с Турком будем спасены. Но совсем стемнело, а надежды мои не оправдались, и я нигде не увидел маяка, одни звезды зажглись в темно-голубом небе, а путеводной звезды своей я пока не нашел.

В одно время с пистолетами я захватил плащ и разную одежду, набросанную повсюду. Из нее сделал себе постель, накрылся сверху плащом, но решил всю ночь не закрывать глаз, чтобы не пропустить спасительной точки на горизонте. Пистолеты положил рядом. Турка улегся возле меня и тотчас же заснул. Ветер затих, и судно слегка покачивалось, а море плескалось об его борта, теперь с ласкающим шумом. Луна взошла и осветила своим бледным светом водяную пустыню и отражалась в ней серебристой полосой. Вскоре незаметно меня укачало, и несмотря на все усилия не спать, усталость и волнения целых суток взяли свое, я заснул так же крепко, как Турка.

Но это затишье на море не обозначало еще конца бури. К утру меня разбудил свежий ветер. Облака низко бежали над водой и море снова стало волноваться.

Я справился с компасом и увидел, что ветер дул с северо-запада. Я направил судно так, чтобы оно было за ветром, мне почему-то казалось, что именно в этом направлении должны находиться берега Нормандии и Бретани.

Через какой-нибудь час море стало такое же бурливое, как и накануне, и волны стали заливать палубу «Ориноко», раскачивая его из стороны в сторону.

Под напором ветра фок-мачта, уже попорченная, начала покачиваться с зловещим треском. Снасти ослабели и с каждым новым порывом ветра я с замиранием сердца ожидал, что ее разломает окончательно. Тогда все будет кончено, «Ориноко» пойдет ко дну.

Я не спускал глаз с этой мачты, как вдруг, следя за ней глазами, я увидел на горизонте темную линию, она тянулась далеко. Несмотря на опасность, я бросился к румпелю и направил ход. Это была земля! Ноги у меня дрожали и подкашивались от радости, по лицу струились слезы. Спасен!

Я не смел верить своим глазам, своему великому и неожиданному счастью! Несмотря на медленный и неправильный ход корабля, линия стала обозначаться все яснее. Скоро у меня не осталось никакого сомнения, что это действительно была земля. Только бы еще час-два продержалась мачта, моя единственная спасительница, пока я доберусь до берега. А она скрипит и трещит, этот треск отдавался в моем сердце как похоронный звон для моей воскресшей надежды на спасение. Турка волновался не менее моего. Казалось, он хотел вскочить мне в глаза и прочитать все мои мысли.

Берег, к которому я направил корабль, был низкий, но дальше он очень постепенно поднимался в виде холма. Вдали не было видно ни гавани, ни деревни, ни признаков жилья.

Конечно, надежда моя заключалась не в том, чтобы подплыть к нему раз не было гавани, это было невозможно, даже если бы это был порт, то ввести полуразбитый корабль в гавань во время волнения было мне не по силам. Я одного желал — подплыть к берегу на

такое расстояние, чтобы я мог попытаться спастись вплавь. Но возможно ли будет это? Может быть, существуют вблизи земли такие подводные камни, которые не подпустят судно и на такое расстояние.

Все эти сомнения и предположения страшно меня волновали. Я отвязал плот, сколоченный мной из досок на случай, если бы «Ориноко» начал погружаться в воду, снял куртку и сапоги и стал ждать с замиранием сердца решения своей участи. Земля теперь была отлично видна. Я мог подробно рассмотреть берег. Волны с пеной разбивались об него. Было время прилива. Еще четверть часа или каких-нибудь десять минут — и моя судьба решится. О, матушка! О, Дези, помолитесь за меня!

В момент, когда я, растроганный, думал о них, «Ориноко» вдруг поднялось, точно подпрыгнуло; я услышал треск, румпель оторвался от руля, колокол зазвонил, мачта зашаталась и повалилась, а я за ней свалился на палубу. «Ориноко» стал, натолкнувшись на подводный камень. Я попробовал приподняться, но новый толчок снова сшиб меня с ног. Корабль еще раз покачнуло взад и вперед со страшной силой. С ужасающим треском он вдруг остановился и опрокинулся на бок.

Я попытался подняться и уцепиться за что-нибудь, за какое-нибудь бревно, только не успел. Волна налетела, захватила меня и закрутила в вихре воды. Когда я выплыл из этого водоворота, то очутился уже в метрах 15 или 20 от корабля. В нескольких шагах от меня плыл мой верный Турка и глядел мне с отчаянием в глаза. Я постарался его ободрить голосом. Мы находились не более как в 200 метрах от взморья.

В обыкновенное время, т. е. когда не было сильного волнения, переплыть такое пространство для меня ничего не стоило бы, но когда меня поднимали на свой гребень волны с гору величиной, это было совсем не то... Я не терял мужества, плыл не торопясь, старался держаться над волной, но меня беспрестанно захватывали встречные волны, и я едва успевал дышать между бурунами.

Берег, как я уже сказал, был совсем пустынный, значит помощи ждать мне было неоткуда. К счастью, ветер гнал волны к берегу, а с ними вместе и меня. Опустившись вместе с волною вниз, я вдруг почувствовал под ногами твердую землю — песок. Это был решительный момент. Следующая волна с такой силой ударила меня о землю, точно я был пучок морской травы.

Я постарался уцепиться пальцами за песок, но волна была сильнее меня, устоять против нее оказалось невозможным. Я понял, что если буду продолжать эту неравную борьбу, то бесцельно потеряю последние силы, и море меня проглотит. Тогда я вспомнил об одном способе спасения, о котором мне рассказывал как-то случайно покойный отец. В момент передышки между двух волн я достал ножик и, открыв его, когда волна выбросила меня на песок, воткнул ножик поглубже в землю.

Волна тянула меня за собой, подбрасывая, словно мячик, но у меня появилась точка опоры, я мог теперь с волною бороться. Как только отхлынула, я встал на ноги и побежал по песку вперед что было мочи. Следующая настигла меня, но покрыла только до колен, я еще пробежал несколько шагов и тут без чувств повалился на землю.

Я был спасен этими последними усилиями, но зато дальше уж не помнил ничего... Моим спасителем явился на сей раз верный Турка. Он лизал мне лицо до тех пор, пока я не пришел в себя; он отчаянно лаял, глаза его горели так, точно ему хотелось сказать мне: «Приди же в себя, мы счастливо отделались от всех бед». Я приподнялся на песке и увидел, что ко мне подходит таможенный сторож. Он, верно, заметил меня с вершины дюны, а с ним вместе и несколько человек крестьян, которых привлек неистовый лай верного Турки.

Глава XIV

Впоследствии я узнал, что «Ориноко» пошел ко дну у мыса Леви, в четырех лье от Шербурга.

Крестьяне перенесли меня в Ферманвиль, ближайшую деревушку, в домик священника.

Мой организм до такой степени был потрясен душевным волнением и физической усталостью, что я проспал двадцать часов. Кажется, Турка и я, мы готовы были проспать еще 100 лет, как в заколдованном лесу, в сказке «Спящая красавица», если бы морской полицейский стражник и агенты страхования жизни не потянули меня на допрос.

Я должен был рассказать им подробно все, что произошло со мной с отъезда из Гавра и до последней минуты, когда «Ориноко» пошел ко дну. Пришлось также рассказать и о том, как я очутился в сундуке. На это я решился, однако, с большими опасениями.

После допроса меня должны были отправить в Гавр, к хозяину «Ориноко», а оттуда через три дня после моего ужасного приключения в Шербург. «Колибри» к вечеру того же дня привез меня в Гавр.

Мою историю уже узнали в городе. Она попала во все газеты, и я стал чуть ли не героем дня, или по крайней мере возбуждал всеобщее любопытство. Когда я появился с собакой на палубе «Колибри», целая толпа ожидала нас на берегу; на меня с Турком публика показывала пальцами с восклицаниями:

— Вот они, вот они.

В Гавре я узнал, что экипаж «Ориноко» почти весь спасся. Шлюпка встретила в море английский корабль, который подобрал всех людей, а лодка из Саутгемптона перевезла их на французский берег. Что же касается до бедного Германа, то он упал с палубы в море при столкновении нашем с пароходом и утонул. Он не умел искусно плавать, а может быть его придавило доской. Поэтому он и не мог придти ко мне на помощь.

Мой рассказ являлся очень важным свидетельством против поведения капитана «Ориноко». Агенты страхового общества заявили ему, что не покинь он корабль так скоро, судно можно было бы спасти. Если ребенок смог направить его к берегу, то экипаж в полном составе смело мог бы войти в какую-нибудь гавань. Об этом говорили и спорили в целом Гавре все, от мала до велика, и беспрестанно обращались ко мне со всевозможными вопросами.

В местном театре давали пьесу «Крушение Медузы» и директору пришла счастливая мысль позволить мне участвовать в этой пьесе на первом ее представлении с тем, чтобы сбор был в мою пользу. Билеты брались нарасхват. Мне дали роль без речей, роль маленького юнги, и когда я вышел на сцену в сопровождении Турка, нас приняли громом аплодисментов, так что на несколько минут пришлось прервать представление.

Все бинокли были обращены на нас, и я себя возмнил в самом деле важной персоной. Но мысль, что Турка тоже мог возмечтать о себе не меньше меня самого отрезвила мои восторги.

За вычетом расходов представление дало мне 200 франков. Пьесу играли еще восемь раз, и всякий раз директор давал мне по 5 франков, что составило 240 франков, то есть для меня целое состояние.

Я решил справиться себе экипировку к предстоящему плаванию, потому что моя страсть к морю и страх перед дядей все еще не прошли. Оставшись один на покинутом «Ориноко», когда я попал в вихрь разъяренных волн, и они бросали меня о берег так, что я рисковал потонуть ежесекундно, мне приходили в голову очень грустные вещи, и судьба людей, живущих на суше, казалась мне много счастливее жизни моряков, но, отделавшись от всех этих ужасов, впечатления утратили свою остроту и растаяли под первым лучом солнца.

В Гавре я только и думал, чтобы найти корабль, на который меня приняли бы юнгой. Хозяин «Ориноко» обещал, наконец, взять меня на «Амазонку», а деньжонки на расходы для путешествия у меня теперь были. Надо было ждать еще две недели отплытия «Амазонки» в Бразилию.

Между тем за это время случилось вот какое новое обстоятельство: во время моей встречи с Германом я провел в его квартире несколько ночей. Это была жалкая комнатка в глубине широкого двора, очень темного и очень грязного. Хозяйка Германа сдала мне его комнату на две недели охотно, но не взялась меня кормить. Она была очень болезненная женщина и такая слабая, что с трудом могла приготовить поесть даже для одной себя.

За последнее время я привык голодать и есть что попало, поэтому вопрос об обеде меня совсем не беспокоил: было бы хлеба вволю — вот я и сыт. Со мной она обходилась так ласково, так заботилась обо мне, точно я был ей сын родной. По всему было видно, что эта превосходная женщина меня очень жалела. Может быть, особенно потому, что у ней самой был единственный сын, приблизительно моих лет, которого она горячо любила.

Восемь месяцев тому назад он уехал на корабле в Индию — в Калькутту, и бедная мать со дня на день ожидала с нетерпением его возвращения на «Нестрии» (так звали корабль). Я находил, что между нею и моей матерью было много общего. Она так же, как и матушка, ненавидела море, боялась его, боялась, что сын, увлеченный морской жизнью, уйдет в моряки навсегда, и она останется одинокой доживать свой век.

Муж ее умер от желтой лихорадки в С. Доминго, вдали от родины и от семьи, и она с отчаянием в душе отпустила теперь сына в далекое плавание в виду его неотступных просьб.

Одно утешало ее, что, может быть, это первое путешествие, трудное и не особенно удачное, излечит его от страсти к морской жизни, и что он не вернется больше на корабль. С каким страстным нетерпением она ожидала этого сына!

Поэтому когда я возвращался с набережной (а я проводил там почти все свое время), она всякий день меня расспрашивала: какова погода, откуда дует ветер и много ли пришло в гавань судов. Путешествие в Индию было очень продолжительно, неопределенно и опасно. «Нестрия» могла вернуться не нынче-завтра, но также точно и через две, три недели, даже и через месяц.

Дней десять я, таким образом, прожил у нее, как вдруг ее болезнь резко изменилась к худшему. Соседки говорили, по словам врача, что жизнь ее находилась в опасности, и что он не ручался даже за несколько дней. Верно, это так и было, потому что она с каждым днем слабела, бледнела, и всякий раз, когда она звала меня, чтобы узнать, какова погода и море, и не вернулась ли, роковая для нее, «Нестрия», мне при виде ее невольно становилось страшно. Она казалась еле-еле живой.

После периода страшных бурь, во время которых погиб «Ориноко», наступило затишье. Небо сделалось безоблачным, точно среди лета, и море было до того спокойно, каким оно бывает вообще довольно редко. Этот штиль приводил в отчаянье нашу больную.

Мне поневоле приходилось всякий день повторять одну и ту же фразу: нет ветра, или маленький восточный.

Тогда она грустно покачивала головой в ответ и прибавляла: «Господь ко мне немилостив, верно, мне суждено умереть, не повидавшись перед смертью с дорогим моим мальчиком!»

Приятельницы-соседки всячески уговаривали бедную женщину не предаваться мрачным мыслям, не думать о смерти, они старались уверить, что ей не грозит никакая опасность, и вообще прибегали к той невинной лжи, которую так часто говорят умирающим. Но она продолжала терзаться ожиданием и неизменно повторяла: наверно, мне не суждено больше с ним свидеться на этом свете и поцеловать его и благословить перед вечной разлукой.

При этом она начинала так отчаянно рыдать, что и сам я не мог удержаться от слез. Когда доктор сказал, что болезнь безнадежна, и она скоро должна умереть, не нынче-завтра, — мне становилось страшно входить к ней в комнату.

Однажды утром, это было во вторник, я пошел, как всегда, справиться, не пришла ли «Нестрия», а когда вернулся домой, соседка, дежурившая при ней, тихонько поманила меня и шепнула на ухо: доктор сказал, что она не переживет сегодняшней ночи. Я долго не решался войти, и даже снял сапоги у дверей, чтобы не стучать, но она все-таки узнала мои шаги.

— Ромен, — позвала она слабым голосом.

Я вошел, одна из ее сестер сидела в это время у постели и сделала знак, чтобы я подошел. Больная посмотрела мне в глаза таким взглядом, какого я никогда не забуду.

— Все то же самое, погода не меняется? И ветра нет?

— Нет.

— А суда?

— Несколько рыбацких лодок, корабль пришел с устья Сены и пароход из Лиссабона.

Едва я окончил эти слова, как дверь распахнулась и в комнату вошел муж ее сестры; он служил мастеровым в порту и казался очень взволнованным.

— Сегодня пришел пароход из Лиссабона.

— Да, Ромен уже сказал мне об этом.

Хотя она сказала это вскользь, но взглядываясь пристально в лицо зятя, она поняла, что есть что-то новое.

— Боже мой! — воскликнула она, — «Нестрия» пришла?

— Да, да, хорошие вести, они встретили ее близ устья Сены, на корабле все благополучно, и не нынче-завтра она уже прибудет в Гавр.

Больная лежала на подушках такая бледная и слабая, что казалось, жизнь из нее ушла наполовину. Но при этих словах она быстро приподнялась.

— Господи! Господи! — сказала она с надеждой, и глаза ее еще раз вспыхнули жизнью, а румянец залил лицо. — Сколько же еще пути до Гавра?

— При попутном ветре двое суток, а то могло пройти и шесть. Пароход «Лиссабон» пришел через 30 часов, значит «Нестрия» могла прийти завтра.

Она послала за доктором.

— Продлите мне жизнь еще хоть немного, умоляю вас, пока мальчик мой вернется. Неужели Бог допустит, чтобы я умерла, не повидавшись с ним, не дав ему своего поцелуя и благословения перед смертью.

Возбуждение и надежда, казалось, вернули ее к жизни. Доктор при виде этого возбуждения не верил своим глазам.

У бедняков одна комната служит и кухней и спальней, а потому больная наша лежала в той же комнате, где готовили обед; тут же валялась невымытая посуда, пузырьки с лекарством и прочий домашний скарб. Сестра и соседки были такие же бедные, как и она сама. У каждой было своего дела довольно, да и дети на руках. Некогда было наводить чистоту и порядок у больной, однако при мысли о свидании с сыном она упростила их убрать комнату, открыть окна и надеть на нее чистое платье.

— Я не хочу, чтобы, когда Жан приедет, здесь пахло аптекой и смертью. Только когда он приедет? Вот в чем был весь вопрос.

На море все то же затишье, хоть бы немного подул ветер, чтобы помочь «Нестрии» поскорее войти в родной порт.

В приморских городах существует обычай объявлять публике, какие корабли находятся в виду. Для Гавра эти сигналы обыкновенно подавались с мыса Фев, их тотчас же передавали в город и печатали для сведения в газетах.

Больная просила меня пойти посмотреть объявления. Разумеется, я со всем усердием бегал справляться всякий час в Орлеанскую улицу, в контору страхования, где раньше всего получают нужные сведения. Но по причине штиля ни один корабль не появлялся на горизонте, все задерживались у входа в Ла-Манш.

Несмотря на это больная не теряла надежды и вечером попросила придвинуть ее кровать к открытому окну. На крыше соседнего дома вертелся большой флюгер, она не спускала с него глаз и все надеялась, что поднимется ветер. В другое время такая надежда показалась бы смешной. Небо было безоблачно; полная луна светила на небе, и флюгер не шевелился, точно припаянный к шпилю.

Сестра больной послала меня спать. Среди ночи меня разбудил шум, какого я давно уже не слышал. Точно что-то поскрипывало. Я выглянул в окно, флюгер вертелся и железный стержень скрипел. Ночью поднялся сильный ветер. Я тотчас же вскочил и побежал на набережную. Море начинало порядочно шуметь, свежий ветер дул с севера и таможенный сторож, с которым я разговорился, сказал мне, что по всей вероятности он все будет крепчать и перейдет в северо-западный.

Я прибежал домой с добрыми вестями, потому что западный ветер пригонит «Нестрию» в Гавр, самое позднее, вечером этого же дня, к концу прилива.

— Ну, вот видишь, — сказала больная, — значит я была права, когда надеялась, что ветер переменится. О, Господь наконец услышал мою молитву.

Сестра говорила, что она не засыпала всю ночь, не спуская глаз с флюгера, постоянно спрашивая об одном.

— В котором часу прилив?

Она попросила немного вина; доктор разрешил давать ей все, что только она захочет. Правда, что она проглотила всего один глоток, потому что и это ей было тяжело.

— Все-таки вино может подкрепить меня хоть немного, и я дождусь... — время от времени она, глядя на флюгер, шептала: «бедный Жан, бедный мой мальчик».

Когда солнце поднялось высоко, она подозвала меня к себе.

— Пойди к мяснику, Ромен, купи у него три фунта самого лучшего мяса, пусть сварят суп с капустой.

— Капуста тебе вредна, — возразила сестра.

— О, это не для меня, а для Жана; он так любил этот суп и, верно, давно его не пробовал, вот тебе деньги. — Она с трудом вытащила из-под подушки пятифранковую монету.

Утром зашел доктор. Он удивился этой энергии в борьбе за жизнь. — Ее поддерживает одна надежда на свидание с любимым сыном, если она могла усилием нервов и напряжением воли пережить эту ночь, то можно надеяться, что у нее хватит сил до вечера, когда кончится прилив.

Как только пробило 10 часов, я побежал на Орлеанскую улицу, в контору. Несколько судов появилось на горизонте, но я не видал объявления о прибытии «Нестрии». От 10 часов утра и до 3 пополудни я раз двадцать сбегал туда, наконец, получил давно желанную весточку. «Нестрия» возвращается из Калькутты!

Давно было пора, потому что больная ослабевала с каждой минутой, а разочарование, что сын не вернется с утренним приливом, было для нее невыносимо...

Когда же я прибежал объявить ей, что «Нестрия» сейчас придет, она снова точно воскресла.

— В котором часу полный прилив, Ромен?

— В шесть часов.

— Мне кажется, я его дождусь, дайте еще глоток вина.

Я снова побежал к морю. На рейде стояло несколько больших судов, которые дожидались окончания полного прилива, чтобы войти в порт. С четырех часов они уже начали входить. Но «Нестрия» была сильно нагружена и раньше пяти не могла войти в гавань. Когда я вернулся домой, она по лицу угадала все.

— «Нестрия» входит в порт? — произнесла она торжественно.

— Да, — отвечал я.

— Поправь мне подушки, приподыми меня, — попросила она сестру.

В одних глазах оставалась еще искра жизни.

Через четверть часа по лестнице послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, это был Жан. Счастливая улыбка озарила лицо умирающей, у ней еще хватило сил прижать сына к своему сердцу.

В 11 часов вечера она скончалась вместе с отливом.

Эта преждевременная смерть, эта безграничная любовь матери к сыну, которая своей силой на время даже поборола смерть, это отчаяние при мысли, что она не дождется и не увидит его больше, произвели на меня такое потрясающее впечатление, какого не могло сделать ни ужасы гибели «Ориноко», ни просьбы Дези, ни страх вернуться к дяде. Моя мать так же могла без меня умереть, пока я буду далеко от нее в море. Она так же будет страдать и томиться, она так же одинока, а я у нее один сын!..

В первый раз возможность такого несчастья прошла перед моими глазами с

необычайной яркостью, и я почувствовал всем существом моим, какой это ужас, если все это случится! Я один буду виноват в ее смерти, и это уже непоправимое горе!

От одной этой мысли я не мог заснуть всю ночь. «Амазонка» уходила через две недели, а пароход в Гонфлер, с которым я мог вернуться домой, выходил из Гавра в 5 часов утра.

Борьба в моем сердце все еще продолжалась. Мысль о матушке на этот раз крепко удерживала меня остаться навсегда в Пор-Дье. Наконец, думал я, самое страшное пугало, дядя Симон, не съест же он меня в самом деле? Я сумел побороться с холодом и голодом, с бурей и одиночеством, даже со смертью в волнах бушующего моря; вооружусь-ка я мужеством и попробую побороться с дядей!

Если матушка не хотела, чтобы я шел в моряки, она имела на это полное право. А я, имел ли я право уйти воровским образом против ее желания в Бразилию на «Амазонке»?

Судьба уже, по-видимому, показала мне во время гибели «Ориноко», что мне не будет удачи в плавании. Если же допустить, что плавание на «Амазонке» будет вполне счастливо, то простит ли она мне по возвращении моем все то беспокойство и все те тревоги, которые она переживает за мое отсутствие. В моем воображении еще раз пронеслась картина смерти матери Жана со всеми ужасными подробностями. А если она останется жива, а я погибну, кто будет ее кормить и содержать, когда у ней уже не будет больше сил работать? Это последнее соображение решило мою судьбу бесповоротно.

В четыре часа утра я потихоньку встал, собрал свои вещи, а в половине пятого уже сидел на палубе парохода на пути в Гонфлер. В пять часов я выехал из Гавра и бросил раз навсегда мысль «сделаться моряком во что бы то ни стало».

Через 36 часов, то есть в 7 часов вечера следующего дня в лучах заходящего солнца замелькали передо мной знакомые дома в Пор-Дье.

Домой с парохода я пошел через пустое поле той же самой дорогой, по которой так недавно мы шли вместе с Дези.

Но какая разница тогда и теперь! За это время зима уступила место ранней весне: прежней дороги было не узнать. Трава уже зеленела, в прилесках распускались фиалки, а листики на прибрежном тростнике совсем распустились. От земли после теплого дня шел пар и такой аромат расцветающей природы, с которым ничто не может сравниться.

Никогда я еще не ощущал такого прилива радости и счастья при мысли, что я иду домой. Как обрадуется матушка, как крепко прижмет меня к своему сердцу, она, верно, тогда простит мне все...

Я подошел к нашей изгороди и прыгнул на откос. В 20 шагах от меня вижу — Дези собирает платки и белье, которое сушилось на веревке.

— Дези! — позвал я громко.

Она быстро обернулась на мой голос, но не видела меня, потому что я спрятался за кусты.

Вдруг я заметил, что она была вся в трауре, по ком? Отчего?

У меня сердце замерло от ужаса и тогда я закричал уже не своим голосом: — Мама! Где мама?

Но раньше, чем Дези могла мне ответить, матушка показалась на пороге дома, за нею вышел старик с длинной белой бородою, высокий и худой. Господи! Вот-то чудо! Это — г. Бигорель. Я не верил своим глазам. Да, это был сам г. Бигорель! Он, и вместе с матушкой, с Дези! Я протер себе невольно глаза, чтобы убедиться, что я не сплю, и что это не сон... Я сам не знаю, что со мной случилось от радости, на одну секунду у меня ноги отнялись.

— Что случилось, Дези? — спросил спокойный, знакомый голос г. Бигореля.

Да, это он и говорит... следовательно, это не призрак, не обман зрения. Передо мной стоял живой человек. Видно, я не ошибаюсь. В один прыжок я очутился по сю сторону плетня и прямо через кусты терна побежал к ним.

Велика была наша общая радость: нет таких слов, чтобы можно было передать все, что я почувствовал, когда мать обняла меня.

После первых минут свидания, когда мы все немного успокоились, я должен был

рассказать про все, что со мной было с тех пор, как мы расстались с Дези. Я торопился, говорил по возможности кратко, в нескольких словах, потому что сгорал от нетерпения узнать, каким чудом г. де-Бигорель спасся, и опять очутился в Пор-Дье, в нашем доме?

С г. Бигорелем случилась очень простая, хотя и неожиданная история. Когда он возвращался с островов де-Грюн, его шлюпку опрокинуло шквалом. Он ухватился за киль, и сидя на нем верхом, продержался некоторое время над водой, пока не встретил, совершенно случайно, трехмачтовое судно, идущее из Гавра в С. Франциско. Капитан, хотя и добрый человек, потому что подобрал г. Бигореля, спустив для этого лодку с матросом, и спас ему таким образом жизнь, но он не имел времени, или не хотел задерживаться в плавании, а потому не зашел в порт, чтобы высадить своего непрошеного пассажира, и, волей-неволей, г. Бигорелю пришлось прокатиться на этом корабле в Калифорнию, на что ушло от 5 до 6 месяцев.

Он надеялся встретить по пути подходящий корабль, на котором можно было бы вернуться на родину, но надежды его не сбылись. На мысе Горн он опустил в ящик письмо к нам, с описанием своих приключений, но письмо это затерялось.

По прибытии в Америку он еще два месяца пропутешествовал по луговым пустыням, пока снова не вернулся на родину незадолго до моего возвращения.

Итак, я не сделался моряком!

Мой индейский дядя Флоги умер, траур носили по нем. Он оставил после себя такое большое наследство, что все мы стали богатыми людьми.

Г. де-Бигорель снова взял меня к себе, чтобы окончить мое воспитание и образование, а Дези отдала в пансион. Читатели сейчас увидят, какая из нее вышла умная и дельная женщина, потому что мы с ней повенчались, когда выросли, и у нас теперь двое детей, сын и дочь. Наши дети любят г. Бигореля как родного дедушку, а он души в них не чает. Каждое утро они отправляются на Пьер-Гант к нему в гости, поздороваться, а потом привести его к нам обедать.

Хотя я сам не плавал, но у меня на всю жизнь осталась страсть ко всему морскому. Из тридцати судов, которые всякий год отправляются из Пор-Дье и в «Новую Землю», на рыбный промысел, шесть принадлежат мне.

Матушка не захотела расстаться со своим маленьким домиком и доживает свой век в старом нашем гнезде, дорогом для нее по воспоминаниям прошлого. Я уже два раза чинил рубку для того, чтобы в ней все оставалось по-старому.

Картинка, которую вы видите, представляет именно наш домик. Ее рисовал Люсьен Гардель, он всякий год приезжает к нам погостить месяца на два, и работает у нас над своими картинами. Его приезд праздник для всех, потому что он все такой же добрый, веселый и остроумный, и все заражаются его весельем и смехом.

Несмотря на все его старания, ни один жандарм в округе не спрашивал у него паспорта и не пытался его арестовать.

Г. Бигорель живет и до сих пор, хотя ему уже 92 года; годы не ослабили ни его светлого разума, ни его всегдашней подвижности. Он согнулся порядком от старости, но сердце у него осталось и доброе и юное, как прежде. Деревья, им посаженные, выросли и превратились в густой лес, своей тенью они покрывают остров и защищают его от напоров ветра.

На западной стороне острова по-прежнему пасутся черные барашки, корова и несколько семей кроликов. Морские чайки по-прежнему перед бурей низко летают над нашими скалами.

Суббота все такой же здоровый и крепкий, как в то время, когда он по утрам давал мне попробовать свою «капельку», никогда не пропустит случая спросить у меня: — «Ромен, тскую куак, куак». Что это такое значит? А? — и начинает добродушно хохотать, хватаясь за бока.

Если же г. Бигорель, который с некоторых пор стал плохо слышать, посмотрит на нас с недоумением, не понимая, в чем дело, и чему мы так весело смеемся, то Суббота снимает

свой шерстяной колпак, принимает серьезный вид и говорит мне с чувством:

— Все это пустяки, Ромен, не следует нам смеяться над чудачествами нашего дорогого старика; помни, что если из тебя вышел порядочный человек, то этим ты исключительно обязан ему.

И это истинная правда. Наследство индийского дяди Жана во многом помогло нашему благополучию, но без г. Бигореля, без его помощи, без его уроков и примера всей его жизни, без тех забот о моем воспитании, которые он так великодушно принял на себя, из меня бы вышел только разбогатевший мужик — не больше. С одними деньгами далеко не уйдешь, что бы там ни говорили люди, подобные дяде Симону. Разве его собственная жизнь в Доле не подтвердила вполне эту истину? Уж на что, кажется, у него денег всегда была пропасть, а какое же это было счастье и благополучие, когда он с ними всегда вел собачью жизнь, и вечно жаловался, что он нищий, и что ему плохо живется!

Наследство от брата увеличило его, и без того большой, капитал. Только тогда он совсем обезумел от скудости, от жадности и от страсти к наживе.

Ему показались теперь мелкими, нестоящими прежние занятия, он захотел широко плавать, да сейчас же и осекся. Образования у него не было, понимания больших финансовых операций тоже, ум заменяла хитрость, годная только для мелкой наживы. Кроме того, он наскочил на ловких пройдох, которые оказались похитрее и обобрали его дочиста.

Все богатство ухнуло; пришлось продать контору и дом в Доле, даже имение, которым он так гордился, и то не хватило 10 000 франков на уплату кредиторам. Я предложил ему помочь, так он вместо благодарности меня всячески изругал. Мне пришлось заплатить кредиторам потихоньку от него, чтобы не было стыдно перед добрыми людьми. Когда же он узнал об этом, то пришел в настоящее бешенство. — «Моты, дураки, — кричал он, задыхаясь, — уж придется вам когда-нибудь пойти с сумой! Простофили этакие! Которые не умеют ни беречь, ни ценить денег!»

Теперь он живет маленькой пенсией, которую мы выдаем ему ежегодно; но и тут приходится постоянно с ним хитрить и ссориться. Как только он получит деньги, так и отдаст их кому-нибудь под проценты, а сам перебивается, живет точно нищий, лишает себя всего самого необходимого. А то начнет потихоньку от нас торговать старым тряпьем да бегать по аукционам.

Наконец, чтобы ему лучше жилось, мы поместили его к добрым и честным людям; денег в руки ему не даем, платим за его стол, квартиру и платье. Но даже в этих условиях он находит возможным прикопить несколько несчастных су под проценты. Например, возьмет и продаст новое платье, а сам одевается в такие лохмотья, что на него смотреть совестно.

Вот до чего невежество и темнота доводят людей!

Когда же мы начинаем его уговаривать, упрекать за то, что он живет, как нищий, что нам его и жалко и стыдно, он тогда страшно разозлится и с горячностью кричит в ответ: «Погодите, уж рано или поздно вы все разоритесь с вашей страстью к мотовству, тогда будете рады-радешеньки, что я припрятал для вас денежку на „черный день“».

Дядя Симон забывает при этом только одно, что благодаря своей скудости он и себе самому и всем близким людям сделал все дни «черными!»

Что с ним поделаешь! Не слушает никаких резонов, — видно, горбатого одна могила исправит!